ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

На маяк



На маяк
Вирджиния Вулф

Аннотация
Вирджиния Вулф. На маяк
Окно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Проходит время

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Маяк

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Аннотация

«На маяк» – книга категорически необычная. Два дня, разделенные десятилетним промежутком времени. Изображенные идеи, настроения и духовный опыт. Память, с помощью которой постепенно и незаметно в этот тонкий и изящный роман входит большая жизнь. Таково самое знаменитое произведение Вирджинии Вулф.

На его страницах большая семьи Рэмзи, проводя лето на острове Скай, мечтает отправиться к маяку, который виден с их берега. Ежедневно миссис Рэмзи сообщает, что отец отвезет их туда на следующий день. Однако поездка все откладывается и откладывается.

Описав эту историю, Вулф сумела нарисовать причудливый объемный рисунок человеческих взаимоотношений и рассказать, как и что думают женщины и мужчины, пока их никто не слышит.

Вирджиния Вулф
На маяк

Virginia Woolf
TO THE LIGHTHOUSE
Д. Целовальникова, перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Окно

1

— Конечно, если погода будет хорошая, — сказала миссис Рамзи. — Но встать придется спозаранку.

Ее сына это необычайно обрадовало, будто все решено, экспедиция непременно состоится и чудо, которого он ждал, казалось, долгие-долгие годы, в пределах досягаемости — только ночь переждать, и можно плыть. Хотя мальчику было всего шесть лет, он принадлежал к великому клану тех, кто не способен отделять одно чувство от другого, зато позволяет будущим перспективам, со всеми их радостями и печалями, затуманивать то, что находится прямо под носом, поскольку для подобных людей даже в раннем детстве любой поворот колеса эмоций способен преобразовать и пронизать текущий момент насквозь, погрузив в сумрак или ярко осветив; и для Джеймса Рамзи, который сидел на полу с ножницами и вырезал картинки из иллюстрированного каталога Универмага армии и флота, благодаря обещанию матери изображение холодильника преисполнилось неземного блаженства. Радость окаймляла его, словно бахрома. Ручная тележка,

газонокосилка, шелест тополей, побелевшая перед дождем листва, грачиный грай, стук швабры, шуршанье платья — все это представало в сознании Джеймса красочным и особенным, потому что у него уже сложился личный свод сигналов, некий тайный язык, хотя со стороны создавалось впечатление, что нрав у мальчика суровый — высокий лоб хмурится при виде человеческих слабостей, голубые глаза, безупречно искренние и чистые, глядят пронзительно, — и мать, наблюдавшая, как аккуратно он ведет ножницами вокруг холодильника, представляла, что сын будет восседать в парламенте в алой мантии, отороченной горностаем, или возглавит какую-нибудь отрасль исключительной важности в кризисный для страны момент.

— Не будет, — заявил отец, останавливаясь перед окном гостиной.

Случись под рукой топор, кочерга или еще что-нибудь острое, чем можно проделать в груди дыру и убить, Джеймс схватил бы его не раздумывая. Вот такие перепады эмоций вызывал у своих детей мистер Рамзи одним лишь присутствием; и сейчас он стоял стройный, как клинок, безжалостный, как лезвие, и язвительно ухмылялся, не только радуясь тому, что развеял иллюзии сына и

выставил на посмешище жену, которая в десять тысяч раз лучше его (думал Джеймс), но также тайно кичась своей правотой. Увы, он сказал правду, как всегда. На ложь мистер Рамзи был совершенно неспособен — никогда не искажал фактов, никогда не избегал неприятного слова, чтобы угодить или польстить любому смертному, а в меньшей степени собственным детям, плоть от плоти его; они с детства усвоили, что жизнь трудна, факты непреложны, и для перехода в землю обетованную, где гаснут наши самые светлые надежды, где наши хрупкие барки во мраке идут ко дну (здесь мистер Рамзи расправил бы плечи и прищурился, глядя на горизонт маленькими голубыми глазками), прежде всего требуются мужество, правда и стойкость.

— А может, и будет — надеюсь, что будет, — сказала миссис Рамзи, с досадой крутанув на спицах красновато-коричневый чулок. Если успеет закончить сегодня, если они все-таки поедут на маяк, то отдаст смотрителю для его маленького сынишки, у которого подозревают туберкулез бедренной кости; вместе со стопкой старых журналов, табаком и всем, что валяется по дому, никому особо не нужное — беднягам, наверное, до смерти наскучило сидеть день-деньской без

дела, ведь сколько можно надраивать лампу, подрезать фитиль и копаться на узкой полоске земли; чтобы хоть как-то развлечься, сгодится что угодно. Кому понравится сидеть по месяцу или даже больше, если разыграется шторм, на скале размером с теннисную площадку? — спрашивала миссис Рамзи, — без писем и без газет, ни с кем не видясь; каково людям семейным вдали от жены и детей, не зная, вдруг те заболели, вдруг упали и поломали руки-ноги; каково смотреть неделя за неделей на одни и те же унылые волны, а потом грянет страшный шторм — в окна летят соленые брызги, птицы бьются о лампу, все здание раскачивается, и ты не можешь носа за дверь высунуть, чтобы не унесло в море? Как вам такое понравится? — спрашивала она, обращаясь прежде всего к дочерям. Поэтому, заключила она немного сбивчиво, нужно снабжать их любыми полезными мелочами, какими получится.

— Дует прямо на запад, — сообщил Тэнсли-атеист, сопровождавший мистера Рамзи на вечерней прогулке по террасе, и растопырил на ветру костлявые пальцы. Он имел в виду, что для высадки на маяке направление ветра наиболее неудачное. Тэнсли и в самом деле говорит пренеприятные вещи, признала миссис Рамзи, с его стороны про-

сто гадко талдычить одно и то же и расстраивать Джеймса еще больше, но в то же время в обиду она его не даст. Домашние прозвали Тэнсли атеистом, мелким атеистом. Над ним потешалась Роуз, потешалась Прю; над ним издевались Энди, Джаспер, Роджер, даже старый беззубый Бэджер умудрился его тяпнуть, потому что (как выразилась Нэнси) Тэнсли имел наглость стать сто десятым по счету молодым человеком, который увязался за ними до самых Гебридов, хотя побыть одному намного приятнее.

— Чушь! — сурово отрезала миссис Рамзи. В отличие от склонности к преувеличению, унаследованной детьми от нее, и справедливого намека на то, что она приглашает слишком многих и для них даже приходится снимать жилье в городе, неучтивости к своим гостям она не прощала, особенно к молодым людям — бедным как церковные мыши, «необычайно одаренным юношам», как выразился ее муж, почитателям его таланта, которые приезжали к ним на каникулы. Безусловно, противоположный пол миссис Рамзи взяла под свою защиту, причем по непонятным даже для нее самой мотивам — то ли из-за присущего мужчинам рыцарского духа, то ли из-за того, что они заключают международные догово-

ры, управляют Индией, контролируют финансы, то ли из-за доброго отношения к ней, ведь любая женщина чувствует и ценит доверительное, по-детски простое, почтительное обращение; женщина немолодая вправе принимать его, не теряя достоинства, и горе той девушке — не дай Бог ею станет одна из ее дочерей! — которая неспособна этого оценить и прочувствовать до мозга костей!

Она строго осадила Нэнси. Тэнсли за ними вовсе не увязался — его пригласили.

Нужно что-нибудь придумать, вздохнула она. Возможно, найдется выход более простой, менее затратный. Глядя в зеркало на свои седеющие волосы, на запавшие щеки, миссис Рамзи думала, что в пятьдесят лет могла бы справляться и лучше — и с мужем, и с деньгами, и с его книгами, однако о принятом решении ни секунды не жалела, от трудностей не уклонялась и своими обязанностями не пренебрегала. Сейчас, после отповеди за Чарльза Тэнсли, вид у нее был грозный, и ее дочери — Прю, Нэнси, Роуз — молча переглядывались поверх тарелок, легкомысленно лелея кощунственные замыслы о совершенно другой жизни где-нибудь в Париже, жизни праздной, без лишних забот; судя по лицам, они изрядно

сомневались в рыцарском духе, Банке Англии и Индийской империи, перстнях и кружевах, хотя и не могли не признать во всем этом красоту, что пробуждало в девичьих сердцах отвагу и заставляло, пока они сидели за столом под пристальным взглядом матери, больше ценить ее непривычную строгость и предельную обходительность; так королева омывает грязные ноги нищего, преклонив колена; так и их мать устроила им выговор из-за несчастного атеиста, что увязался — точнее сказать, принял приглашение пожить у них на острове Скай.

— Завтра у маяка точно не причалить, — заявил Чарльз Тэнсли и хлопнул в ладоши, стоя у окна рядом с ее мужем. Наговорил он достаточно! Почему бы не оставить их с Джеймсом в покое и не продолжить свою беседу? Она посмотрела на него. Жалкий тип, как сказали ее дети, просто недоразумение ходячее. В крикет не играет, всех шпыняет, всюду сует свой нос. Эндрю назвал его язвой. Они-то знали, что нравится ему больше всего — расхаживать взад-вперед с мистером Рамзи и говорить о чужих достижениях: кто в университете «первоклассный знаток» стихотворной латыни, кто «блестящий ум, но, полагаю, совершенно порочный», кто «безусловно, самый

способный парень в Баллиоле», кто зарыл свой талант во второсортном университете вроде Бристольского или Бредфордского, но о нем еще услышат, когда его пролегомены то ли по математике, то ли по философии — в доказательство мистер Тэнсли готов представить мистеру Рамзи первые страницы, если угодно, они у него с собой — наконец увидят свет. Вот о чем они вечно говорят.

Порой миссис Рамзи не могла удержаться от смеха. На днях она сказала, что «волны высоки как горы». Да, согласился Чарльз Тэнсли, море слегка волнуется. «Разве вы не вымокли до костей?» — спросила она. «Сыровато, но не настолько», — ответил Тэнсли, пощупав рукава и носки.

Однако детей раздражали в нем вовсе не манеры и не выражение лица. Дело было в самом Тэнсли — в его образе мыслей. Стоило завести речь о чем-нибудь интересном — о людях, о музыке, об истории — о чем угодно, стоило просто сказать, что вечер погожий и почему бы не посидеть на свежем воздухе, как Чарльз Тэнсли тут же норовил перевернуть все с ног на голову, перевести разговор на себя любимого, да еще унизить их! Даже придя в картинную галерею, он непре-

менно спросит, нравится ли им его галстук. Видит Бог, воскликнула Роуз, кто такое выдержит?

Восемь сыновей и дочерей мистера и миссис Рамзи исчезли сразу после ужина, словно быстроногие олени, отправившись по своим комнатам, ведь в этом доме им больше негде было уединиться и что-нибудь обсудить — да все, что угодно, вроде галстука Тэнсли, реформы избирательной системы, морских птиц и бабочек, прислуги; а в залитых солнцем комнатушках на чердаке, разделенных лишь тонкими перегородками, из-за чего был слышен каждый шаг и рыдания швейцарской девушки, чей отец умирал от рака в альпийской долине Граубюнден, лучи падали полосами на крикетные биты, спортивные брюки, соломенные шляпы, чернильницы, баночки с краской, жуков и мелкие птичьи черепа, выпаривая запах соли из висящих по стенам пучков длинных водорослей и пляжных полотенец, шершавых от въевшегося песка.

Жаль, что раздоры, разногласия, предубеждения вплелись в самую ткань их бытия столь рано, сокрушалась миссис Рамзи. Дети такие мелочные, несут сплошную чушь! Она вышла из столовой, держа Джеймса за руку, потому что идти с остальными он не хотел. Что за ерунда,

зачем выдумывать различия, если люди и так все разные? В жизни и без того хватает различий, думала она, стоя у окна гостиной. К примеру, между богатыми и бедными, знатными и простыми: ведь и сама она невольно питала уважение к высокому происхождению, поскольку в жилах ее текла кровь весьма благородного, хотя и полумифического итальянского рода, чьи дочери в девятнадцатом веке расселились по гостиным всей Англии, так очаровательно пришепетывая, так бурно проявляя чувства, и всем своим остроумием, манерой держаться, темпераментом она обязана им, а вовсе не апатичным англичанам или флегматичным шотландцам. Но гораздо глубже она погрузилась в размышления о другой проблеме — о богатых и бедных, о том, что видела своими глазами еженедельно, ежедневно и здесь, и в Лондоне, лично навещая бедную вдову или измотанную нуждой жену, входя в чужой дом с сумкой, блокнотом и карандашом, которым записывала в аккуратно разлинованные колонки заработную плату и расходы занятых и безработных, надеясь таким образом из обычной женщины, чья благотворительность служит попыткой отчасти задобрить свое негодование, отчасти облегчить любопытство праздного,

неразвитого ума, сделаться отважным исследователем, изучающим социальную проблему.

И в самом деле, вопросы неразрешимые, думала миссис Рамзи, держа ребенка за руку. Нелепый молодой человек, над которым все потешались, увязался за ней в гостиную и теперь маячил возле стола, неловко теребя что-то в руках и чувствуя себя лишним. Все остальные ушли — дети, Минта Дойл с Полом Рэйли, Август Кармайкл, ее муж — все. Она вздохнула и спросила: «Вам не скучно будет прогуляться со мной, мистер Тэнсли?»

Пара рутинных дел в городе, нужно написать пару писем — минут через десять она будет готова, только шляпу наденет. И десять минут спустя миссис Рамзи вернулась с корзинкой и зонтиком, давая понять, что готова, полностью экипирована для прогулки, которую пришлось ненадолго прервать, когда они проходили мимо теннисной площадки, чтобы спросить у мистера Кармайкла, с блаженством развалившегося на солнышке и щурившего желтые кошачьи глаза — в них отражались ветви деревьев и бегущие по небу облака, но ни намека на мысли или чувства, — не нужно ли ему чего.

Грядет великая экспедиция, со смехом объяснила миссис Рамзи. Вылазка в город. «Марки,

писчая бумага, табак?» — подсказала она, останавливаясь неподалеку. Нет, ничего не нужно. Руки сомкнулись на объемистом животе, глаза замигали, словно он хотел ответить на ее уговоры со всей любезностью (так обаятельна, пусть и слегка нервозна), но не смог, утонув в серо-зеленой дремоте, обволакивающей их без лишних слов безбрежной и благостной летаргией доброжелательности — весь дом, весь мир, всех людей — как думали дети, за ланчем он добавил себе пару капель настойки, оставившей на молочно-белых усах и бороде канареечно-желтый след. Нет, ничего, пробормотал мистер Кармайкл.

Из него вышел бы великий философ, заметила миссис Рамзи, шагая по дороге к рыбацкой деревушке, но помешала неудачная женитьба. Держа зонтик очень прямо и двигаясь с неописуемой грацией, словно предвкушая приятную встречу прямо за углом, она рассказывала его историю: роман в Оксфорде, ранний брак, нищета, поездка в Индию, перевод поэзии («очень красивой, полагаю»), желание учить мальчиков персидскому или хиндустани, хотя какой в этом толк? — а теперь просто лежит, как они только что видели, на лужайке.

Несмотря на пренебрежение остальных до-

мочадцев, откровенность миссис Рамзи ему польстила. Чарльз Тэнсли воспрянул духом. Намекнув на превосходство мужского интеллекта, даже в упадке, на необходимость всем женам подчиняться — она не винила девушку, ведь брак наверняка был довольно счастливым, — отдавать себя целиком заботе о мужьях, она заставила Тэнсли гордиться тем, что он уже успел в жизни, и ему захотелось взять кеб, к примеру, и оплатить поездку. Как насчет сумочки — он мог бы ее понести. Нет-нет, ответила миссис Рамзи, она всегда справляется сама. Да, так и есть. В ней чувствовалось что-то такое. В ее присутствии он ощущал непонятное волнение и трепет, сам не понимая почему. Ему хотелось, чтобы она увидела его в мантии с капюшоном, шагающим среди других магистров. Аспирантура, должность профессора — он был готов на все и видел себя… На что она смотрит? Человек клеит плакат. Огромный, хлопающий на ветру лист распластался, и каждый взмах кисти открывал голые ноги, обручи, лошадей, сверкающие красные и синие попоны, такой красивый и гладкий — пока полстены не заняла цирковая афиша; сотня наездников, двадцать дрессированных тюленей, львы, тигры… Подавшись вперед и близоруко щурясь, миссис Рамзи

прочла: «Приезжают в город». Какое опасное занятие для однорукого, воскликнула она, стоять на самом верху лестницы — два года назад ему отрезало жаткой левую руку.

— Давайте сходим все вместе! — вскричала она, при виде наездников и лошадей обрадовавшись, как дитя, и позабыв про жалость.

— Давайте, — согласился он, повторяя ее слова, однако проговорил их с таким смущением, что она поморщилась. — Давайте сходим в цирк все вместе.

Нет, не может он произнести их правильно. Не может их прочувствовать. Почему же, задумалась миссис Рамзи. Что с ним не так? Сейчас Тэнсли вызывал у нее самые теплые чувства. Разве вас не водили в цирк в детстве, удивилась она. Никогда, ответил он с готовностью, словно именно этого вопроса и ждал, мечтая признаться, что в цирк их не водили. Семья большая, девять братьев и сестер, отец много работал. «Мой отец — аптекарь, миссис Рамзи. У него своя аптека». Чарльз привык обеспечивать себя сам с тринадцати лет. Зимой он часто не мог себе позволить теплое пальто. В колледже никогда не мог «оказать ответное гостеприимство», сухо и церемонно пояснил он. Ему приходилось пользоваться вещами в два

раза дольше, чем другим, курить самый дешевый табак — махорку, как старикам в порту. Он тяжело работал, по семь часов в день, и теперь изучал влияние чего-то на кого-то — они шли дальше, и миссис Рамзи не вполне улавливала смысл, только слова, слова, слова… Диссертация, стипендия, доцентура, лекции. Она не поспевала за уродливым академическим жаргоном, звучавшим весьма напыщенно, зато поняла, почему предложение сходить в цирк выбило беднягу из колеи, почему он бросился рассказывать про отца и мать, про братьев и сестер, и теперь она позаботится о том, чтобы над ним больше не потешались, — она все-все объяснит Прю. Пожалуй, подумала она, ему больше понравилось бы рассказывать всем, как он ходил с семейством Рамзи не в цирк, а на Ибсена. Что за ужасный педант — просто невыносимый зануда! Хотя они уже добрались до городка и шли по центральной улице, где по булыжной мостовой грохотали телеги, он продолжал вещать про выбранное поприще, про простых трудяг, про помощь своему классу и про лекции, пока до нее не дошло, что Тэнсли обрел былую уверенность, вполне оправился после цирка и вот-вот расскажет ей про (миссис Рамзи снова преисполнилась теплых

чувств)… Внезапно дома расступились — перед ними лежала бухта. Миссис Рамзи восхищенно воскликнула: «Как красиво!» Посредине огромной голубой глади виднелся далекий, суровый, старый маяк, справа, насколько хватало глаз, мягкими складками тянулись поросшие буйной зеленью песчаные дюны, навевая мысли о безлюдном лунном ландшафте.

Этот вид, сказала она, останавливаясь и глядя на море потемневшими глазами, ее муж особенно любит. Миссис Рамзи помолчала. Теперь бухту облюбовали художники, заметила она. И в самом деле, неподалеку стоял один, в панаме и желтых ботинках, важный, неторопливый, и увлеченно вглядывался в даль, не обращая внимания на ватагу наблюдающих за ним маленьких мальчиков, насмотревшись, макал кончик кисти в мягкий оттенок зеленого или розового. С тех пор как три года назад тут побывал мистер Понсфорт, все картины стали одинаковыми — зеленовато-серые, с лимонными яхтами и розовыми женщинами на пляже.

То ли дело друзья ее бабушки, сказала миссис Рамзи, мельком взглянув на картину, вот кто не жалел сил, выдумывая свою палитру: сами смешивали пигменты, сами растирали краски, а

потом прикрывали влажными тряпками, чтобы не засохли.

Насколько понял Тэнсли, она имеет в виду, что картина того художника посредственная? Краски недостаточно добротны? Так вроде говорят? Под влиянием необычайного чувства, которое росло в нем всю прогулку, зародилось в саду, когда ему захотелось понести ее сумку, усилилось в городе, когда ему захотелось рассказать про себя, он увидел себя и все, что знал прежде, в несколько ином, искаженном свете. Ужасно странно!

Он стоял в гостиной убогого домишки и ждал, пока миссис Рамзи повидается с женщиной, которую пришла навестить. Слушая над головой торопливые шаги, жизнерадостный, потом приглушенный голос, Тэнсли разглядывал салфетки, коробочки для чая, абажуры и ждал с нетерпением, намереваясь нести ее сумку; услышал, как она выходит, хлопает дверью, говорит, что окна нужно держать открытыми, а двери — наоборот, спрашивает у кого-то в доме, не нужно ли чего (наверное, у ребенка), и вдруг она вернулась, молча постояла (словно там, наверху, притворялась, теперь же вновь стала собой), неподвижно замерев под картиной королевы Виктории с синей лентой ордена Подвязки на плече, и внезапно

он понял, понял главное: красивее женщины он не встречал!

В глазах ее звезды, вуаль в волосах, цикламены и дикие фиалки — что за чушь лезет в голову?! Ей по меньшей мере пятьдесят, у нее восемь детей! Идет по цветущим лугам, прижимая к груди сломанные веточки, упавших оленят, в глазах — звезды, в волосах — ветер… Он взял у нее сумку.

— Всего хорошего, Элси, — проговорила она и вышла на улицу, держа зонтик очень прямо и двигаясь с неописуемой грацией, словно предвкушая приятную встречу прямо за углом, и Чарльз Тэнсли впервые в жизни почувствовал необычайную гордость; рывший канаву человек перестал рыть и уставился на миссис Рамзи, уронил руку и смотрел, и впервые в жизни Чарльз Тэнсли почувствовал необычайную гордость, почувствовал порыв ветра, запах цикламенов и фиалок, потому что шел с красивой женщиной. И наконец взял у нее сумку.

2

— На маяк завтра не поедешь, Джеймс, — сказал Тэнсли, из уважения к миссис Рамзи пытаясь смягчить голос и изобразить хотя бы подобие участия.

Ну что за жалкий тип, подумала она, к чему твердить одно и то же?

3

— А может, ты проснешься и увидишь, что солнышко светит и птички поют, — сочувственно проговорила миссис Рамзи, гладя ребенка по голове. Она видела, как сильно Джеймсу хочется поехать на маяк, как расстроило его ядовитое замечание отца о непогоде, и тут еще этот жалкий тип влез и талдычит одно и то же.

— Может, завтра распогодится, — повторила она, приглаживая его волосы.

Теперь оставалось лишь восхищаться холодильником и листать каталог универмага в надежде найти грабли или газонокосилку, чьи зубцы и рукоятки нужно вырезать с огромным мастерством и аккуратностью. Все эти юнцы склонны подражать ее мужу, стоит ему сказать, что будет дождь, так они предрекают по меньшей мере торнадо.

Едва она перевернула страницу, как поиски подходящей картинки с граблями или газонокосилкой прервались. Приглушенный гул грубых голосов, нарушаемый лишь курением трубок, недвусмысленно свидетельствовал, что мужчины благополучно беседуют, хотя слов миссис

Рамзи не могла разобрать (она сидела у открытого окна, выходящего на террасу), и вдруг этот звук, длившийся добрых полчаса и перекрывавший все прочие, вроде ударов крикетных бит по мячу, пронзительных детских криков «Ну как? Ну как?», внезапно стих, и монотонный прибой, задававший ровный, спокойный темп ее мыслям, пока она сидела с детьми, утешительно повторявший слова старой колыбельной, которую, казалось, шепчет сама природа: «Я тебя сберегу, я беду отведу», в иные моменты внезапно и совершенно неожиданно, в особенности когда она отвлекалась от повседневных забот, утрачивал всю благостность, грохотал призрачной барабанной дробью и безжалостно отмерял ход жизни, навевал мысли о гибели острова в морской пучине, предупреждал ее, чьи дни стремительно пролетали, об эфемерности всего сущего — этот звук, который до недавнего времени скрывался иными звуками, гулко прогремел в ее ушах и заставил в ужасе поднять взгляд.

Разговор прервался — вот в чем дело. Словно в отместку за ненужный расход эмоций, миссис Рамзи вмиг перешла от чрезвычайного напряжения в другую крайность — ей стало спокойно, весело, и она даже позволила себе толику злорад-

ства: судя по всему, Чарли Тэнсли ретировался. Ее это ничуть не встревожило. Если мужу надобна жертва, пусть берет Чарли Тэнсли, который так третирует ее маленького сына!

Еще мгновение она прислушивалась, подняв голову, в ожидании привычного шума, ровного механического звука; затем из сада донеслась ритмичная фраза — то ли стих, то ли песня, — муж расхаживал по террасе взад-вперед, хрипло напевая себе под нос, и миссис Рамзи утешилась вновь, уверившись, что все в порядке, опустила взгляд на каталог и сразу обнаружила подходящую картинку — перочинный нож с шестью лезвиями, который Джеймс сможет вырезать, только если очень постарается.

Внезапно раздался громкий крик, напоминающий вопль разбуженного лунатика, что-то вроде

Под шквалом шрапнели и снарядов [1]

резануло по ушам, заставив миссис Рамзи испуганно оглянуться — не услышали бы посторонние! К счастью, кроме Лили Бриско, поблизости не было никого, а она не в счет. При виде моль-

---

[1] Примечания: 1

Здесь и далее мистер Рамзи декламирует стихотворение Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерии», посвященное битве при Балаклаве во время Русско-турецкой войны 1854 года. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

берта на краю лужайки миссис Рамзи вспомнила, что должна позировать с опущенной головой для картины Лили. Картина Лили! Миссис Рамзи улыбнулась. С узкими китайскими глазками и мелкой мордашкой ей никогда не выйти замуж, да и художества ее принимать всерьез не стоит, впрочем, миссис Рамзи нравилась независимая девушка, и она опустила голову, помня свое обещание.

4

На самом деле он едва не опрокинул мольберт, выскочив прямо на нее, размахивая руками и вопя во все горло: «Храбро мы мчались вперед!», но, к счастью, вовремя осадил и поскакал дальше, как поняла Лили, чтобы пасть смертью храбрых на высотах Балаклавы. До чего смешон и в то же время страшен! И все же, пока мистер Рамзи ведет себя подобным образом, мечется и кричит, ей ничего не угрожает — он не остановится и не будет смотреть на картину. Лили Бриско этого не выносила. Разглядывая композицию, линии, цвета, миссис Рамзи, сидящую у открытого окна с Джеймсом, девушка настороженно наблюдала за окрестностями, чтобы никто не подкрался незамеченным и не подсмотрел. Чувства ее обострились до предела, от стены и клематиса Жакмана рябило в глазах, и тут она почуяла, что кто-то выходит из-за дома и приближается к ней; по походке угадала Уильяма Бэнкса, и, хотя кисть в руке дрогнула, Лили не стала переворачивать холст, как сделала бы при появлении мистера Тэнсли, Пола Рэйли, Минты Дойл или любого другого. Позади нее остановился Уильям Бэнкс.

Оба снимали жилье в деревне и, входя и выходя, расставаясь вечером у дверей, иногда обменивались замечаниями о супе, о детях, о том о сем, что сделало их союзниками, и теперь он стоял позади нее с бесстрастным видом (по возрасту он годился ей в отцы — ботаник, вдовец, благоухает мылом, крайне щепетильный и опрятный), и она осталась на месте. Он отметил, что туфли у нее превосходные, широкие, движений пальцев не стесняют. Проживая с ней в одном доме, он также обратил внимание, как регулярно она занимается живописью — встает задолго до завтрака и пишет картины в одиночестве; вероятно, бедна, и ни миловидность, ни обаяние мисс Дойл ей несвойственны, зато она весьма проницательна, что намного предпочтительнее. К примеру, когда Рамзи обрушился на них, крича и размахивая руками, мисс Бриско наверняка все поняла.

Допущена фатальная ошибка!

Мистер Рамзи смотрел на них пристально. Он смотрел на них, не видя. Почему-то обоим стало неуютно. Они увидели то, что не предназначалось для чужих глаз, вторглись в чужую жизнь. Вероятно, подумала Лили, поэтому мистер Бэнкс почти сразу и решил покинуть пределы слыши-

мости, воспользовавшись первым подходящим предлогом: сказал, что стало прохладно, и пригласил ее немного пройтись. Да, она пойдет. Но взгляд от картины Лили оторвала с большим трудом.

Клематис пылал лиловым, стена была ослепительно-белой. Лили не решилась бы нарушать оригинальные цвета, потому что видела их именно такими, хотя в свете новейших веяний, особенно после визита мистера Понсфорта, полагалось видеть все в бледных, изысканных, полупрозрачных оттенках. А ведь кроме цвета, есть еще и форма… Она видела все так четко, так уверенно, однако стоило взять в руки кисть, как все менялось. Именно в тот миг, когда она переводила взгляд с натуры на холст, ее охватывали сомнения, порой доводя до слез и делая переход от замысла к творению устрашающим, как темный коридор для ребенка. Ей часто приходилось бороться изо всех сил, чтобы сохранить самообладание, сказать себе: «Но я ведь так вижу, я вижу именно так» и тем самым прижать жалкие остатки своего видения к груди, борясь с неисчислимым воинством, норовящим вырвать его прямо из рук. Ощущая гнетущее чувство тревоги, она начинала писать, и на нее разом

обрушивалось все — и собственная никчемность, и бесталанность, и необходимость заботиться об отце, живущем на задворках Бромптон-роуд, и так и тянуло броситься (слава небесам, до сих пор ей удавалось сдержать порыв) перед миссис Рамзи на колени и воскликнуть — но что она могла сказать? Я влюблена в вас? Нет, неправда. Я влюблена в это все! — и обвести рукой зеленую изгородь, дом, детей. Нелепо, немыслимо!..

Лили аккуратно сложила кисти в ящичек и сказала Уильяму Бэнксу:

— Холодает теперь быстро. Видимо, солнце дает меньше тепла, — проговорила она, оглянувшись по сторонам. Хотя было еще достаточно светло, трава росла мягкая и пышная, дом утопал в зелени и лиловых страстоцветах, грачи роняли спокойные крики из высокой синевы, в воздухе что-то чувствовалось — сверкнуло, промелькнуло серебристым крылом. Уже сентябрь, середина сентября, и седьмой час вечера. И они отправились по саду привычным маршрутом, мимо площадки для игры в теннис, мимо пампасной травы к прогалу в густой изгороди, по бокам которого часовыми стояли книпхофии, пламенея, словно горящие угли, и сквозь них синие воды залива казались необычайно яркими.

Они исправно приходили туда каждый вечер, влекомые непонятной нуждой. Как будто в морской воде их застывшие на берегу мысли оживали и отправлялись в свободное плаванье, и тела испытывали буквально физическое облегчение. Синева пульсировала, сердце расширялось с ней вместе, и тело пускалось вплавь, через миг врезалось в колючую черноту мятущихся волн и замирало. Изредка из-за огромной черной скалы вырывался белый фонтан воды; ждать его приходилось долго, а видеть было радостно, и в томительном ожидании на бледном полукруглом берегу они наблюдали, как гладкая волна набегает на волну, затягивая залив перламутровой пленкой.

Стоя там, они улыбались. Оба чувствовали общее оживление, радуясь бегу волн и плавным движениям парусника, который заложил вираж и остановился, дрогнул, и паруса опали; повинуясь естественному стремлению завершить картину, оба перевели взгляд на дюны вдалеке и внезапно ощутили печаль, отчасти потому, что картина приобрела законченный вид, отчасти потому, что дальние виды переживут любого наблюдателя на миллион лет (подумала Лили) и уже соединились с небом, созерцающим погру-

женную в покой землю.

Глядя на далекие песчаные холмы, Уильям Бэнкс подумал о Рамзи посреди Вестморленда, представил, как тот бредет по сельской дороге, окруженный столь типичным для него ореолом одиночества. Внезапно Бэнксу вспомнился реальный случай: курица растопырила крылья, защищая выводок цыплят, и Рамзи остановился, ткнул тростью и проговорил: «Мило, очень мило!», явив себя с совершенно неожиданной стороны — показав свою простоту и добродушие, но именно после этого, мнилось Бэнксу, их дружба сошла на нет. Вскоре Рамзи женился. То одно, то другое, и дружба измельчала. Он не мог бы сказать, чья в том вина, просто через некоторое время новизна сменилась однообразием. При встречах они лишь повторяли уже сказанное. Тем не менее в безмолвном диалоге с песчаными дюнами он осознал, что привязанность к Рамзи ничуть не угасла, и, как тело юноши, пролежавшее в торфяных болотах целое столетие, сохранило алость губ, так и дружба, погребенная в дюнах возле залива, не утратила ни остроты, ни истинности.

Во имя этой дружбы и, вероятно, желания убедить себя, что вовсе не очерствел и не скукожился

— ведь Рамзи живет с выводком детей, в то время как Бэнкс бездетный вдовец, — ему не хотелось, чтобы Лили Бриско недооценивала Рамзи (человека по-своему великого) и все же поняла, что стоит между ними. Начавшись много лет назад, их дружба исчерпала себя на сельской дороге в Вестморленде, где курица растопырила крылья, защищая своих цыплят. Рамзи женился, пути их разошлись, в чем нет ничьей вины, и при встречах оба стали повторяться.

Вот, собственно, и все. Он закончил, повернулся к заливу спиной. Собравшись идти обратно другим путем, по подъездной дорожке, мистер Бэнкс внезапно осознал то, чего не понял бы без откровения песчаных холмов, без тела с алыми губами, погребенного в торфяных болотах — к примеру, сейчас малышка Кэм, младшая дочь Рамзи, рвала на берегу душистую резеду. Взбалмошная вредина! Отказалась «дать джентльмену цветочек», как велит няня. Нет-нет-нет! Ни за что! Сжала кулачок, затопала ножками. Мистер Бэнкс почувствовал себя старым, загрустил и понял, что дружба ни при чем. Пожалуй, он все-таки очерствел и скукожился.

Рамзи небогаты, и просто удивительно, как им удается сводить концы с концами. Восемь

отпрысков! Содержать восьмерых детей за счет философии! Вот и еще один прошел мимо, на этот раз Джаспер, собрался птиц пострелять, беззаботно сообщил он, покачав руку Лили, словно рычаг насоса, и мистер Бэнкс с горечью заметил: она-то пользуется у них успехом. К тому же всех следует выучить (правда, у миссис Рамзи могут быть и свои средства), не говоря о постоянных расходах на ботинки и чулки для этих славных ребят — рослых, задиристых, бессердечных юнцов. Он особо не различал, кто из них кто, кто за кем идет, поэтому про себя окрестил их в честь английских королей и королев: Кэм Злая, Джеймс Бесщадный, Эндрю Разумный, Прю Красивая — ведь Прю наверняка вырастет красавицей, тут уж ничего не поделаешь, а Эндрю — умницей. Поднимаясь по дорожке, Лили Бриско отвечала «да» и «нет», отметала критические замечания в их адрес (она любила всех Рамзи поголовно, любила весь свет), а мистер Бэнкс тем временем размышлял о положении Рамзи, то сочувствовал ему, то завидовал, ведь все происходило у него на глазах — тот добровольно отказался от ореола уединения и аскетизма, венчавшего его в юности, обременил себя многочисленным семейством, над которым теперь кудахтал, расправив крылышки. Следует

признать, подобная жизнь не лишена кое-каких радостей — к примеру, приятно, когда малютка Кэм продевает цветок тебе в петличку или залезает на плечи, как к отцу, чтобы посмотреть на картину извержения Везувия, но старые друзья видят: дети в нем что-то сломали. Интересно, что думают посторонние? Что думает Лили Бриско? Разве никто не замечает его странных повадок? Чудачеств, даже слабостей? Поразительно, насколько человек подобного ума низко пал — нет, пожалуй, слишком сильно сказано — падок на похвалу.

— Да, но подумайте о его работе! — воскликнула Лили.

Всякий раз, «думая о его работе», она представляла большой кухонный стол. Так вышло с легкой руки Эндрю. Однажды Лили спросила, о чем книги его отца. «Субъект, объект и природа реальности», — ответил Эндрю. И она воскликнула: «Господи, да я понятия не имею, что это значит!», на что Эндрю заметил: «Представьте кухонный стол, когда вас нет на кухне».

И теперь, думая про работу мистера Рамзи, она всегда видела кухонный стол. Сейчас он застрял в развилке груши, поскольку они уже добрались до сада. Мучительным усилием Лили сосредоточи-

лась не на бугристой коре дерева или похожих на рыбок серебристых листьях, а на воображаемом кухонном столе — одном из тех выскобленных дочиста деревянных столов, щербатых и узорчатых, чьи достоинства обнажаются с годами безупречной прочности, который торчал вверх тормашками, задрав все четыре ноги. Разумеется, если все твои дни проходят за созерцанием угловатых сущностей, если ты лишаешь себя прелестных вечеров с розовыми, как фламинго, облачками, небесной синевой и серебром, променяв их на белый стол с четырьмя ножками (ведь так поступают все лучшие умы), разумеется, тебя нельзя судить как обычного человека.

Мистеру Бэнксу понравился ее совет «подумать о его работе». Он и думал, причем часто. Много раз говорил, что Рамзи — из тех умов, что создают свои лучшие работы до сорока. В двадцать пять лет он внес значимый вклад в философию, написав маленькую книжечку, остальное — лишь дополнение к сказанному, повторение. Тем не менее число тех, кто вносит значимый вклад хоть куда-нибудь, очень мало, заметил он, останавливаясь возле груши — такой опрятный, безупречно точный, изысканно рассудительный. Внезапно, словно повинуясь движению его руки,

весь запас накопленных Лили впечатлений о нем опрокинулся и хлынул мощным оползнем. Это было первое ощущение. Потом в клубах пыли проступила его истинная сущность. Это было второе. Лили поразилась остроте своего восприятия — взыскательности, нравственному величию мистера Бэнкса. Я вас уважаю (обратилась она к нему без слов) до последнего атома, вы ничуть не тщеславны, вы совершенно объективны, вы гораздо лучше мистера Рамзи — вы самый лучший из всех, кого я знаю, у вас ни жены, ни детей (не испытывая сексуального влечения, она все же рвалась скрасить его одиночество), вы живете ради науки (ее взгляд невольно обозрел картофельные грядки), похвалы только оскорбят вас, такого щедрого, такого чистого сердцем, такого незаурядного! И в то же время ей вспомнилось, как он привез сюда лакея, как гонял с кресел собак, как нудно разглагольствовал (пока мистер Рамзи не выбежал из комнаты, хлопнув дверью) о содержании минеральных солей в овощах и о бездарности английских кухарок.

Что же получается? Как можно судить других, думать про них? Как можно складывать первое со вторым и заключать, испытываешь ты к человеку симпатию или неприязнь? И какой в итоге

смысл нам вкладывать в эти слова? Лили Бриско застыла у груши, изнемогая под потоками впечатлений об этих двух мужчинах, и уследить за ее мыслью было все равно что пытаться записывать слишком быструю речь карандашом, а голос ее изрекал без подсказок извне неоспоримые, вечные, противоречивые истины, от которых даже складки и бугорки на коре груши неподвижно застывали навеки. Вам присуще подлинное величие, продолжала она, у мистера Рамзи его нет. Он мелок, самолюбив, тщеславен, эгоистичен, жена его избаловала, он — домашний тиран, он замучает миссис Рамзи до смерти; и все же у него есть то, чего нет у вас (обратилась она к мистеру Бэнксу), — пламенная отрешенность, он не разменивается по мелочам, он любит собак и детей. У него их восемь, у мистера Бэнкса — ни одного. А как он сидел вечером в двух халатах и миссис Рамзи стригла его на скорую руку, надев на голову форму для пудинга и обрезая волосы по кругу? Мысли Лили исполняли причудливый танец, словно рой мошек — каждая сама по себе, при этом оставаясь связанными невидимой эластичной сетью, — метались в ее сознании, вились вокруг ветвей груши, где все еще висел образ выскобленного кухонного стола, символа

ее глубокого уважения к уму мистера Рамзи, пока мысль, вращавшаяся все быстрее и быстрее, не разорвалась от собственной полноты, и Лили полегчало; неподалеку раздался выстрел и прочь метнулась испуганная, суетливая, шумная стая грачей.

— Джаспер! — воскликнул мистер Бэнкс. Они повернули в сторону, куда полетели грачи, — к террасе. Следуя за стайкой стремительных птиц, они прошли через прогал в изгороди и столкнулись с мистером Рамзи, который проревел скорбным, звучным голосом:

— Допущена фатальная ошибка!

На миг его глаза, остекленевшие от накала страстей, встретились с их глазами и дрогнули, узнавая; он судорожно поднес руку к лицу, снедаемый желчным стыдом, словно желая прикрыться, отмахнуться от их обыденных взглядов, умоляя отдалить неизбежное, внушая им свое детское возмущение, что его так грубо прервали, но даже в момент разоблачения не спасовал, намереваясь держаться до конца, растянуть восхитительное переживание, непристойную рапсодию, пробуждающую одновременно стыд и наслаждение, — мистер Рамзи резко отвернулся, словно захлопнул у них перед носом дверь, Лили

Бриско с мистером Бэнксом смущенно поглядели в небо и заметили, что стая грачей, которую спугнул своим выстрелом Джаспер, устроилась на верхушках вязов.

5

— Если завтра погода будет плохая, поедем в другой день, — утешила сына миссис Рамзи, бросив взгляд на Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, проходивших мимо. — А теперь, — сказала она, думая, что все очарование Лили — в китайских раскосых глазках на маленьком личике, но оценить его способен лишь умный мужчина, — а теперь встань и дай померить твою ножку, — ведь на маяк они могут и поехать, и тогда нужно посмотреть, не довязать ли чулок еще на пару дюймов.

Внезапно ее осенила восхитительная идея — Уильям с Лили должны пожениться! Миссис Рамзи с улыбкой взяла пестрый чулок с четырьмя перекрещенными спицами у незаконченного конца и приложила к ноге Джеймса.

— Милый, постой смирно, — попросила она, потому что ревнивый Джеймс не желал быть манекеном для сынишки смотрителя и нарочно вертелся, а как иначе увидеть, короткий чулок или длинный?

Она подняла взгляд — что за бес вселился в ее младшенького, в ее любимца? — посмотрела

на комнату, на кресла и сочла их ужасно потрепанными. Как выразился на днях Эндрю, из них потроха вываливаются, но какой смысл покупать хорошую мебель, чтобы она портилась тут всю зиму, если дом остается под присмотром одной старухи и буквально сочится влагой? Зато аренда мизерная, детям здесь нравится, мужу идет на пользу удалиться на три тысячи — если уж быть точной, то на три сотни миль от библиотек, лекций и учеников, да и гостям место найдется. Коврики, складные кровати, разваливающиеся кресла и колченогие столы — изгои, отслужившие в Лондоне свой срок, — здесь вполне годились, и пара фотографий, и книги. Их становится слишком много, думала она, не успеваешь читать. Увы, даже те, что подарили и подписали поэты — «Для той, чьи желания должны исполняться», «Счастливой Елене наших дней», — стыдно сказать, так и остались непрочитанными. Ни «Разум» Крума, ни «Обычаи дикарей Полинезии» Бэйтса (милый, постой спокойно, повторила она) на маяк не отправишь. Рано или поздно, полагала миссис Рамзи, дом настолько обветшает, что придется им заняться. Научить бы их вытирать ноги и не тащить песок с пляжа — уже хорошо. Крабов запрещать

нельзя, раз Эндрю действительно так хочется их препарировать, и морские водоросли тоже, раз Джаспер полагает, что из них можно сварить суп, да и ракушки, камешки, тростинки Роуз; дети все такие одаренные, и каждый совершенно на свой лад. В результате, вздохнула миссис Рамзи, оглядывая комнату от пола до потолка, пока прикладывала чулок к ножке Джеймса, дом ветшает с каждым летом. Ковер выгорел, обои отстали от стен, уже и не видно, что на них за цветы. Если двери постоянно настежь и ни один мастер во всей Шотландии не может починить засов, вещи неизбежно придут в негодность. Какой смысл драпировать картинную раму зеленой кашемировой шалью? Через пару недель она выгорит до цвета горохового супа. Особенно миссис Рамзи раздражали двери — вечно нараспашку. Она прислушалась. Дверь в гостиную открыта, дверь в холл тоже; судя по звуку, и двери в спальни и, конечно, окно на лестничной клетке — она сама его растворила. Неужели так трудно запомнить, что окна надо держать открытыми, а двери — затворять? По вечерам она обходит спальни горничных, и везде окна запечатаны, как печные заслонки, кроме комнатки Мари, девушки из Швейцарии; та скорее готова обойтись

без купания, чем без свежего воздуха, но ведь дома у нее горы красивые. Так и сказала вчера, глядя из окна со слезами на глазах. «Горы дома такие красивые». Там умирает ее отец, миссис Рамзи знала. Скоро они осиротеют. Девушка тихо заговорила, и миссис Рамзи внезапно утратила желание упрекать и широкими жестами показывать, как надо стелить постель, как открывать окно — изящные руки тихо сложились, словно крылья птицы, что влетела с солнечного света в тень, и синева перьев из ярко-стальной потускнела до темно-фиолетовой. Миссис Рамзи стояла молча, что тут скажешь? У отца Мари рак горла. Вспомнив свою растерянность, слова девушки про горы и ощущение полной безнадежности, она рассердилась и резко одернула Джеймс:

— Стой смирно. Хватит ерзать! — И тот сразу понял, что шутки кончились, выпрямил ногу и дал себя померить.

Чулок коротковат по меньшей мере на полдюйма, даже с учетом того, что мальчишка Сорли мельче Джеймса.

— Коротко, — вздохнула она, — слишком коротко.

Печальней ее нет никого на свете! В темных глубинах, вдали от света родилась горькая и

черная слеза, родилась и упала в колодец; воды качнулись, принимая ее, и успокоились. Печальней ее нет никого на свете!

Неужели все дело во внешности, удивлялись люди. Что скрывается за блеском ее красоты? Неужели он действительно вышиб себе мозги за неделю до того, как они поженились, — тот, другой, о котором ходили слухи? Или ничего не было? Ничего, кроме бесподобной и совершенно безмятежной красоты? Миссис Рамзи с легкостью могла бы признаться в момент откровения, когда рассказывают истории о великой страсти, о несчастной любви, о рухнувших надеждах, что и ей это знакомо и на ее долю тоже выпало, — но нет, ничего подобного она не говорила, всегда хранила молчание. Она все понимала, все знала, ничему не учась. Простота позволяла ей постигнуть то, в чем люди умные заблуждались, прямодушие заставляло падать камнем и взмывать птицей, набрасываться на истину словно коршун, что, конечно, радовало, облегчало душу, обнадеживало — даже если и незаслуженно.

(«Немного у природы той глины, — однажды заметил про себя мистер Бэнкс, изрядно тронутый ее голосом по телефону, хотя она всего лишь сообщила время отправления поезда, — из ко-

торой она вас сотворила». Он представлял ее на другом конце провода — синеглазая, с греческим профилем. До чего неуместно разговаривать с такой женщиной по телефону! Казалось, все три грации собрались вместе на лугах асфоделей, создавая ее лицо. Да, он успеет на юстонский поезд в десять тридцать.

«Осознает свою красоту не больше, чем дитя», — добавил мистер Бэнкс, положив трубку и подходя к окну взглянуть, каких успехов добились строители, возводившие отель на заднем дворе дома. Наблюдая за суетой у незаконченных стен, он думал о миссис Рамзи. Вечно гармонию ее лица нарушает какая-нибудь несуразица! То нахлобучит на голову охотничью кепку с двойным козырьком, то помчится по лужайке в галошах на босу ногу выручать попавшего в беду ребенка… Поэтому, если думать лишь о ее красоте, придется учитывать и трепетность, живость (рабочие понесли кирпичи наверх, поднимаясь по тонкой доске), включая в общую картину; если думать о ее женских качествах, придется мириться и со странностями характера (всеобщее восхищение ей претит) или же с подспудным желанием избавиться от своей поразительной красоты, словно та ей наскучила и она хочет стать незаметной,

как все обычные люди. Он не знал, не знал. Пора вернуться к работе.)

На фоне шедевра Микеланджело в золоченой раме, слегка задрапированной зеленой шалью, миссис Рамзи с мохнатым красно-коричневым чулком смотрелась совершенно нелепо. Смягчив минутную резкость, она подняла голову и поцеловала сынишку в лоб.

— Давай-ка поищем другую картинку, которую можно вырезать, — сказала она.

6

Что же случилось?

Допущена фатальная ошибка.

Очнувшись от задумчивости, миссис Рамзи придала смысл словам, которые долго крутились у нее в голове, ни о чем не говоря. «Допущена фатальная ошибка»… Устремив близорукий взгляд на приближающегося мужа, она пристально смотрела до тех пор, пока его близость не открыла ей (в голове прозвучал звоночек): что-то произошло, кто-то ошибся. Она и не представляла, что именно могло случиться.

Он вздрогнул, его затрясло. Все тщеславие, все великолепие, с которым он, подобный молнии, свирепому ястребу, мчался вскачь во главе своих людей по долине смерти, — все разбилось вдребезги, сошло на нет. Под шквалом шрапнели и воем снарядов отважно скакала вперед вся бригада, долиною смерти, бряцая и сверкая саблями, — прямо в Лили Бриско и Уильяма Бэнкса. Он вздрогнул, его затрясло.

Она не заговорила бы с ним ни за что на свете, угадав по знакомым признакам — смотрит

в сторону, лицо поджато, словно ушел в себя и нуждается в уединении, пытаясь восстановить душевное равновесие, — что муж возмущен и страдает. Она погладила Джеймса по голове, передала ему то, что чувствовала к мужу, и, наблюдая, как он обводит желтым мелком белую сорочку джентльмена из каталога, подумала: как было бы приятно, если бы младший сын стал великим художником. Почему бы и нет? У него красивый лоб. Подняв взгляд на мужа, который прошел мимо еще раз, она с облегчением отметила, что горе утихло, привязанность к семье восторжествовала, заведенный порядок вновь вполголоса напевает утешительную мелодию, поэтому, когда мистер Рамзи, завершив очередной круг, остановился у окна, насмешливо склонился к Джеймсу и пощекотал голую ножку веточкой, она упрекнула его за то, что он отослал прочь «бедного юношу», Чарльза Тэнсли. Мистер Рамзи ответил, что Тэнсли засел за диссертацию.

— Джеймсу тоже придется засесть за *свою* диссертацию, — добавил он с иронией, слегка пощекотав.

Ненавидя отца, Джеймс отмахнулся от веточки, которой мистер Рамзи в свойственной ему манере, сочетающей жестокость и юмор, дразнил

младшего сына.

Надо закончить канитель с чулками, чтобы завтра передать их малышу Сорли, сказала миссис Рамзи.

Нет ни единого шанса, что они смогут поехать на маяк завтра, оборвал ее мистер Рамзи.

Откуда ему знать? — спросила она. Ветер меняется часто.

Несусветная бестолковость ее замечания и женская глупость вывели мистера Рамзи из себя. Он промчался вскачь по долине смерти, он уничтожен и разбит вдребезги, а теперь она смеет перед лицом фактов заставлять его детей надеяться на то, о чем не может быть и речи, — по сути, говорит неправду. Он топнул по каменной ступеньке. «Черт бы тебя побрал!» — воскликнул он. А что такого она сказала? Завтра ведь может и распогодиться. Вполне.

Не может, ведь барометр падает и ветер восточный!

Добиваться правды с поразительным пренебрежением к чувствам других людей, срывать тонкий покров цивилизованности так безудержно, так грубо — миссис Рамзи ужаснулась столь кошмарному оскорблению человеческого достоинства и промолчала, сбитая с толку и

ослепленная, без единого упрека склонила голову, словно под ударами хлестких градин, мутных дождевых струй. Что тут скажешь?

Мистер Рамзи остановился подле нее. Помолчав, пообещал пойти и разузнать насчет погоды у береговой охраны, если ей так угодно.

Она уважает мужа больше всех на свете!

Миссис Рамзи сказала, что готова принять его слова на веру. Тогда бутерброды не понадобятся, вот и все. Вечно все у нее что-нибудь спрашивают, ведь она женщина, с утра до ночи то одному помоги, то другому, дети подрастают; часто она чувствует себя просто губкой, пропитанной человеческими эмоциями. Потом он говорит: черт бы тебя побрал! Пойдет дождь. Или говорит: дождя не будет, и сразу небо становится безоблачным. Она уважает мужа больше всех на свете. Да она шнурки недостойна ему завязывать!

Устыдившись своего дурного настроения и бурной жестикуляции во время атаки легкой кавалерии, мистер Рамзи смущенно пощекотал босые ноги сынишки еще раз и, словно с ее позволения, до странного уподобившись огромному морскому льву в зоопарке, когда тот кувыркается назад, получив свою рыбу, и вода в аквариуме качается так, что перехлестывает через край,

нырнул в вечерние сумерки, крадущие цвет с листьев деревьев и живой изгороди, зато придающие розам и гвоздикам небывалый блеск, не свойственный им при свете дня.

— Допущена фатальная ошибка, — проговорил он вновь, расхаживая взад-вперед по террасе.

Как разительно изменился его голос! Уподобившись кукушке, что в июне мелодию меняет, а в июле улетает, он пытался найти осторожным перебором какую-нибудь фразу для нового настроения и за неимением другой использовал эту, пусть и такую надтреснутую. Звучит крайне нелепо, почти вопросительно, без всякой убежденности, зато мелодично. Миссис Рамзи невольно улыбнулась, и вскоре, конечно, он пропел свою фразу на ходу и умолк.

Опасность миновала, уединение восстановлено. Раскурив трубку, мистер Рамзи посмотрел на жену с сыном в открытом окне — так пассажир экспресса поднимает глаза от книги и скользит взглядом по ферме, дереву, домам, воспринимая их скорее как иллюстрацию, как подтверждение прочитанному на печатной странице, к которой возвращается укрепленный духом и растроганный; так и он, не разглядев хорошенько ни жены, ни сына, укрепился духом и растрогался; их мир-

ный вид освятил его усилия: добиться полного и четкого понимания проблемы, требовавшей сейчас напряжения всех сил его блестящего ума.

Умом он обладал поистине блестящим. Будь мысль подобна клавиатуре рояля, разделенной на множество нот, или английскому алфавиту, где двадцать шесть букв идут строго по порядку, тогда его блестящий ум мог без малейших усилий пробежать эти буквы одну за другой уверенно и точно и добраться, скажем, до Q. Он достиг Q, что в Англии удалось немногим. Помедлив у каменного вазона с геранью, он увидел далеко-далеко — как дети, что собирают ракушки, божественно невинны и поглощены всякой ерундой под ногами, совершенно беззащитны перед участью, которую он давно осознал, — жену и сына, сидящих у окна. Им нужна защита, он дает им защиту. Но что же после Q? Что дальше? За Q есть много букв, и последняя едва видна взору смертных — сияет вдали красным. Z суждено достичь лишь одному из целого поколения. И все же, если он доберется до R, это будет серьезным достижением. По крайней мере, Q уже есть. Он уперся в нее руками и ногами. В Q он уверен. Q он доказал делом. Если Q — это Q, тогда R… Он выбил трубку, два-три раза звучно стукнув по ручке вазона, и

продолжил. Тогда R… Мистер Рамзи собрался с духом, напружинился.

Качества, которые спасли бы команду корабля, очутившуюся в бушующем море с шестью галетами и бутылкой воды, — стойкость и справедливость, дальновидность, самоотверженность, ловкость пришли ему на выручку. Значит, R — а что такое R?

Шторка, похожая на кожистое веко ящерицы, заслонила его пронзительный взор и скрыла букву R. Во время секундного помрачения он услышал, что говорят люди: он неудачник, R — вне предела его досягаемости, ему никогда не достичь R. Вперед же, к R, еще разок! R…

Качества, которые в безлюдных полярных просторах сделали бы его главой экспедиции, проводником, советником, что преисполнен оптимизма, ничуть не унывает и невозмутимо смотрит в лицо неизбежному, снова пришли ему на выручку. R…

Глаз ящерицы сверкнул. Вены на лбу мистера Рамзи вздулись. Герань в вазоне стала отчетливо видна, и среди листьев он приметил, сам того не желая, давнее, очевидное различие между двумя типами людей: одни — упорные, энергичные, неутомимые, обладающие сверхчеловеческими

качествами, занимаются своим делом кропотливо и усердно, проходят весь алфавит по порядку, все двадцать шесть букв, от начала до конца; другие — талантливые, вдохновенные, чудесным образом смешивают все буквы воедино — вот путь гения! Он на гениальность не претендует, зато у него есть или могут быть силы пройти каждую букву от A до Z по порядку. Пока же он застрял на Q. Значит, пора перейти к R!

Чувства, не опозорившие бы главу экспедиции, когда валит снег и вершина горы скрылась в тумане, и он знает, что ночью придется лечь на землю и умереть, овладели им, обесцветили радужку, превратив мистера Рамзи всего за пару минут, проведенных на террасе, в иссохшего, поблекшего старца. И все же он не умрет лежа, он отыщет выступ скалы и там, не сводя глаз с метели, до самого конца будет пронзать взглядом тьму и умрет стоя, так и не добравшись до R.

Он стоял неподвижно у вазона с геранью. В конце концов, сколько человек из ста миллионов, спросил он себя, достигают Z? Главе безнадежного предприятия позволительно задаваться подобным вопросом, не предавая участников своей экспедиции. Пожалуй, один — один из всего поколения. Виноват ли он, если это не про него,

учитывая, что он буквально рвал жилы, старался из последних сил, пока те не иссякли? Долго ли проживет его слава? Даже герою позволительно перед смертью задуматься о том, сколько о нем будут помнить. Вероятно, слава протянет пару тысяч лет. Что такое пара тысяч лет? (иронично вопросил мистер Рамзи, уставившись на живую изгородь). Ничто, если глядишь с вершины горы на пространные пустоши веков! Даже камень, который он сейчас пнул, продержится дольше Шекспира. Его собственный огонек погорит год-два и сольется с огнем побольше, и так далее. (Он вгляделся в кусты, в хитросплетение веточек.) Кто станет винить главу безнадежной экспедиции, которая все же умудрилась вскарабкаться достаточно высоко, увидела пустоши веков и гибель звезд, если перед тем, как смерть обездвижит члены, он поднимет онемевшие пальцы ко лбу и расправит плечи, чтобы поисковая экспедиция нашла его замерзшим на посту, как настоящего солдата? Мистер Рамзи расправил плечи.

Кто его осудит, если он задумается о славе, о поисковых отрядах, о пирамидах из камней, воздвигнутых над костями героя благодарными последователями? Наконец, кто осудит главу обреченной экспедиции, если, отправившись в

величайшее приключение, растратив все силы до капли и уснув, не заботясь о том, проснется или нет, он теперь ощущает покалывание в пальцах ног и понимает, что жив и вдобавок нуждается в сочувствии, виски и слушателе, которому тотчас поведает о своих страданиях? Кто его осудит? Кто втайне не порадуется, когда герой снимет доспехи, встанет у окна и посмотрит на жену и сына, медленно подойдет ближе, еще ближе, пока губы, книга и голова не окажутся прямо перед ним, прелестные и незнакомые после глубокой отрешенности, пустоши веков и гибели звезд, и он наконец положит трубку в карман и склонит голову с пышной шевелюрой — кто его осудит, если он отдаст должное мирской красоте?

7

Сын его ненавидел. Ненавидел за то, что отец останавливается и смотрит сверху вниз, ненавидел за то, что мешает им читать, ненавидел за экзальтированность и величавость жестов, за пышную шевелюру, за взыскательность к другим и зацикленность на себе (вот он стоит, требуя внимания), но больше всего Джеймс ненавидел звон и трепет эмоций своего отца, которые дребезжали вокруг, нарушая приятную простоту и гармонию его отношений с матерью. Пристально глядя на страницу, мальчик надеялся, что он уйдет; сердито указывая пальцем на слово, надеялся вернуть внимание матери, ослабевшее, едва отец остановился. Увы, ничто не могло сдвинуть мистера Рамзи с места. Он стоял и ждал, требуя внимания.

Миссис Рамзи, которая сидела, расслабленно обнимая сына, подобралась и, изогнувшись вполоборота, с видимым усилием привстала и выдала фонтан энергии — брызги полетели во все стороны; она выглядела необычайно воодушевленной и живой, словно в сверкающий фонтан хлынула вся ее энергия (хотя сама миссис Рамзи

осталась сидеть, продолжая вязать чулок), и в эту восхитительную плодовитость, в эту жизненную струю вонзилось его гибельное мужское бесплодие, словно медный клюв, бесплодный и убогий. Мистеру Рамзи хотелось сочувствия. Я неудачник, сказал он. Миссис Рамзи сверкнула спицами. Мистер Рамзи повторил, не сводя глаз с ее лица, что он неудачник. Жена тут же отмела его сомнения. «Вот Чарльз Тэнсли…», — начала она, но этого было мало. Ему хотелось, чтобы она его утешила — сперва заверила в гениальности, потом включила в свой круговорот жизни, согрела и приголубила, вернула способность чувствовать, превратила бесплодие в изобилие, и в доме забурлила бы жизнь — в гостиной, кухне, спальнях, детских — пусть тоже оживут, пусть наполнятся жизнью!

Чарльз Тэнсли считает его величайшим философом своего времени, сказала миссис Рамзи. Этого недостаточно — ему нужно сочувствие, он должен быть уверен, что находится на пике славы, что востребован не только здесь — во всем мире! Решительно сверкая спицами, она создала из ничего гостиную и кухню, наполнила их светом; велела мужу расслабиться и походить туда-сюда в свое удовольствие. Она смеялась, она

вязала. Между коленями матери неподвижно застыл Джеймс, чувствуя, как всю ее бушующую силу высасывает медный клюв, бесплодный ятаган, бьющий, не зная пощады, снова и снова, требующий сочувствия.

Я неудачник, повторил он. Лучше взгляни кругом, прочувствуй! Сверкая спицами, миссис Рамзи обвела глазами гостиную и сына, посмотрела в окно и своим смехом, своим самообладанием, своей уверенностью убедила мужа (так нянька, входя со свечой в темную комнату, убеждает капризное дитя), что все это — настоящее, дом — полная чаша, сад утопает в цветах. Пусть поверит ей безоговорочно, и ему ничего не страшно — в какие бы глубины он ни погружался, в какие бы выси ни устремлялся — она будет с ним каждый миг. Похваляясь способностью окружать заботой и защищать, мать выложилась без остатка и уже себя не помнила; и Джеймс, застывший между ее коленями, ощущал, как она высится над ним фруктовым деревцем в розовых цветах, листьях и дрожащих ветвях, в которые снова и снова вонзается медный клюв, безжалостный ятаган его отца-эгоиста, требующего сочувствия.

Наполнившись ее словами, будто младенец, который насытился и отворачивается от груди,

мистер Рамзи посмотрел на жену со смиренной благодарностью — подкрепленный, обновленный — и сказал, что немного прогуляется, понаблюдает, как дети играют в крикет. Он ушел.

И миссис Рамзи тотчас сникла, закрыла свои лепестки один за другим, в изнеможении опала, едва в силах водить пальцем по строкам сказки братьев Гримм, в то время как внутри ее пульсировал, словно в пружине, что растянулась до предела и теперь медленно сжимается, восторг успешного акта созидания.

Каждый удар этого пульса, казалось, окружал ее и удаляющегося прочь мужа, даруя обоим то утешение, которое дают две ноты, высокая и низкая, сливающиеся в унисон. Однако, едва последний отзвук погас и она вернулась к сказке, миссис Рамзи почувствовала не только физическую усталость (так всегда бывало немного погодя), но и слегка неприятное ощущение иного рода. Она и сама не понимала, читая вслух про рыбака и его жену, откуда оно взялось; не позволяла себе выразить недовольство словами и вдруг осознала, перевернув страницу и услышав глухой, зловещий шум опадающей волны: ей не нравилось, даже на миг, чувствовать себя выше мужа; более того, она не могла вынести, что не

вполне верит в истинность своих слов. Миссис Рамзи ничуть не сомневалась, что университетам и публике он просто необходим, что его лекции и книги чрезвычайно важны, но ее тревожили их взаимоотношения и то, как открыто, у всех на виду он обращается к ней за поддержкой — люди скажут, что он от нее зависим, в то время как им следовало бы знать, насколько он бесконечно важнее, чем она, и то, что она дает миру, по сравнению с его достижениями просто ничтожно. Впрочем, сюда примешивалось и другое огорчение: она боялась говорить ему правду, к примеру, про крышу теплицы и расходы на починку — фунтов пятьдесят, наверное, или про его книги, и опасалась, как бы муж не догадался о том, что она смутно подозревала (вследствие разговора с Уильямом Бэнксом): последняя книга не вполне ему удалась; еще приходилось скрывать от него всякие повседневные мелочи, и дети это видели, несли бремя — и так сходила на нет вся радость, чистая радость двух нот, звучащих в унисон, и те отдавались в ее ушах с удручающей прозаичностью.

На страницу упала тень, миссис Рамзи подняла взгляд. Мимо прошлепал Август Кармайкл — именно сейчас, когда ей так неприятно

вспоминать о несовершенстве человеческих взаимоотношений, ведь даже самые лучшие из них не без изъяна и не выдерживают проверки, которую она, при всей своей любви к мужу и стремлению к правде, им устроила; когда ей так неприятно уличить себя в недостойности и неисполнении своих прямых обязанностей — вся эта ложь, все эти преувеличения — именно сейчас, когда она растравила себе душу после самозабвенного восторга, мимо прошлепал мистер Кармайкл в желтых тапочках, и черт дернул ее осведомиться:

— Нагулялись, мистер Кармайкл?

8

Он не ответил. Он принимал опиум. Дети заметили, что у него борода перепачкана желтой настойкой. Похоже на то. Ей было очевидно, что бедняга несчастен, приезжает к ним каждый год в поисках спасения, и все же каждый год повторялось одно и то же: он ей не доверял. Миссис Рамзи говорила: «Я собираюсь в город. Купить вам марок, бумаги, табаку?» и чувствовала, как его коробит. Он ей не доверял. Наверное, из-за жены, которая обращалась с ним столь несправедливо, что миссис Рамзи буквально окаменела, когда в убогой комнатке в Сент-Джонс-Вуд своими глазами увидела, как злобно та выставляет его из дома. Он был неопрятный, неприкаянный старик, вечно роняющий еду на пиджак, а она выгоняла его из комнаты, заявив самым мерзким тоном: «Ну же, мы с миссис Рамзи хотим кое-что обсудить», и миссис Рамзи воочию представила бедственность его положения. Хватает ли ему денег на табак? Приходится ли выпрашивать у жены? Полкроны? Восемнадцать пенсов? Нет, думать о всех унижениях, которым его подвергает жена, просто невыносимо! И теперь он всегда

(непонятно почему, разве что из-за жены) ее избегает, ничего ей не рассказывает. Но что еще она могла для него сделать? Ему выделили солнечную комнату, дети обращаются с ним хорошо. Ни разу миссис Рамзи не заставила его почувствовать себя нежеланным гостем и изо всех сил старалась с ним подружиться. Хотите марок, хотите табака? Вот книга, которая может вам понравиться, и все в таком духе. В конце концов… В конце концов (и тут она взяла себя в руки, внезапно осознав свою красоту, что случалось так редко) — в конце концов, обычно ей легко удавалось понравиться людям; к примеру, Джордж Мэннинг или мистер Уоллес, хотя и знаменитости, а приходят к ней без лишнего шума по вечерам, посидеть у камина и побеседовать наедине. Повсюду она несет светоч своей красоты, входит с ним в любую комнату; и в конце концов, как бы она ни старалась ее задрапировать или уклониться от опостылевшего бремени налагаемых ею обязательств, красота сразу бросалась в глаза. Миссис Рамзи восхищались. Ее любили. Она приходила к скорбящим, и те проливали доселе сдерживаемые слезы. В ее присутствии мужчины, да и женщины тоже, смирялись с очень многим, позволяли себе облегченно расслабиться. Миссис Рамзи ранило, что

он ее избегает. Ей было обидно. И все же дело не совсем в этом, не совсем. Помимо недовольства мужем ее угнетало — особенно ярко она ощутила это в тот миг, когда мистер Кармайкл прошлепал мимо с книгой под мышкой и в ответ на вопрос лишь кивнул, — что он подозревает: все ее желание отдавать и помогать ближнему проистекает из тщеславия. Разве не ради собственного удовольствия она бросалась на помощь, чтобы люди говорили: «О, миссис Рамзи! Славная миссис Рамзи… Миссис Рамзи, ну конечно!» и нуждались в ней, звали в трудную минуту и восхищались ею? Разве не этого она втайне желала, и не потому ли, когда мистер Кармайкл ее избегал, вот как сейчас, устроившись в уголке и без конца повторяя акростихи, она не просто чувствовала, что ее с пренебрежением отвергли, а осознавала мелочность — и свою, и человеческих взаимоотношений, ведь даже лучшие из них не без изъяна, презренны и эгоистичны. Видимо, постаревшая и усталая (щеки впалые, волосы седые), она больше не радует глаз; пора сосредоточиться на сказке про рыбака и утешить этот комок нервов (из восьмерых он самый чувствительный), в который обратился ее сынишка Джеймс.

— На сердце у рыбака стало тяжело, — прочла

она вслух, — идти ему не хотелось. Он сказал самому себе: «По-моему, так делать не следует», и все же отправился на берег. Пришел рыбак к морю, а оно потемнело, стало темно-синим и хмурым, уж не таким светлым и зеленоватым, как прежде, хотя еще и не волновалось. И позвал он рыбку…

Миссис Рамзи предпочла бы, чтобы муж не прерывал их на этом месте. Почему он не идет смотреть, как дети играют в крикет, хотя собирался? Но он ничего не сказал — просто окинул ее взглядом, одобрительно кивнул и пошел дальше. Видя перед собой все ту же зеленую изгородь, которая неоднократно обрамляла паузы, соотносилась с его умозаключениями, видя жену с сыном и все те же вазоны с геранью, которая так часто украшала поток его мыслей и чьи листья хранили их, как клочки бумаги хранят записи, сделанные в разгар чтения — видя все это, он плавно переключился на размышления о толпах американцев, ежегодно посещающих дом Шекспира, навеянные статьей в «Таймс». Если бы Шекспир никогда не существовал, подумал он, насколько мир был бы другим? Зависит ли развитие цивилизации от великих людей? Улучшилось ли положение среднего человека со времен фараонов? Можно

ли считать его тем мерилом, по которому мы судим об успехах цивилизации? Пожалуй, нельзя. Пожалуй, величайшее благо невозможно без существования класса рабов. Лифтер в лондонской подземке — неизбежная необходимость. Неприятная мысль! Мистер Рамзи вскинул голову. Следует как-нибудь принизить превалирующее значение искусства. Он докажет, что мир существует для средних людей, что искусство — всего лишь украшение, венчающее жизнь человека, а не выражающее ее. Шекспир для этого вовсе не нужен. Не зная наверняка, почему так хочет принизить Шекспира и прийти на выручку человеку, вечно стоящему у дверей лифта, он ожесточенно сорвал с живой изгороди листок. Все это можно преподнести через месяц юношам Кардиффского университета, подумал мистер Рамзи; здесь же, на своей лужайке, он просто роется в поисках пищи и устраивает пикники на траве (он отбросил сорванный в дурном настроении листок), словно всадник, который свешивается с лошади, чтобы нарвать роз, или путник, который набивает карманы орехами, гуляя в свое удовольствие по краю, знакомому с детства. Все здесь привычно — и поворот, и тропинка через луга. Так он и бродит туда-сюда часами, по вечерам, размышляя

над трубкой, по старым дорожкам и выгонам, буквально загроможденным историями военных походов и биографиями государственных мужей, стихами и случаями из жизни, памятью о разных деятелях, философах и воинах — все очень явственно и четко, но в конце концов дорога, поле, выгон, усыпанный орехами куст и цветущая изгородь выводят его к дальнему повороту, где он всегда спешивается, привязывает лошадь к дереву и идет пешком. Он достиг края лужайки и посмотрел вниз на залив.

Такова его судьба, особенность его натуры, хочет он того или нет, приходить на полоску суши, медленно поглощаемую морем, и стоять в одиночестве, словно унылая морская птица. Таков его дар — мгновенно избавиться от всего лишнего, замкнуться в себе, утратив размах и стать, при этом сохранив остроту мысли, и очутиться на узком уступе один на один с тьмой человеческого неведения — ведь мы не знаем ничего, а море тем временем подтачивает полоску суши под ногами — такова его судьба, его дар. Спешившись, он отбрасывает все условности и мишуру, все трофеи вроде орехов и роз, уходит в себя, забывая и свою славу, и собственное имя, но сохраняет зоркость, столь нетерпимую к иллюзиям и празд-

ным мечтам, и в таком обличье вдохновляет Уильяма Бэнкса (эпизодически) и Чарльза Тэнсли (неизменно), а теперь и жену (она поднимает взгляд и видит его на краю лужайки), вызывая в них глубокое почтение, жалость и еще благодарность, подобно тому, как засиженный чайками и терзаемый волнами столб, вбитый в морское дно, вызывает у пассажиров прогулочных лодок чувство благодарности за взятый на себя долг — обозначать глубину во время подъема воды.

— У отца восьмерых детей нет выбора, — пробормотал мистер Рамзи вполголоса, отвернулся, вздохнул, поднял глаза, нашел взглядом жену, читающую сказки его ребенку, набил трубку. Он отвернулся от зрелища человеческого неведения и человеческой участи, от моря, подтачивающего землю, на которой мы стоим; будь он способен созерцать сие зрелище более сосредоточенно, это могло бы принести свои результаты; и он нашел утешение в мелочах столь незначительных по сравнению с возвышенной темой прямо перед ним, что едва не пренебрег этим утешением, едва не отнесся к нему с презрением, словно для человека честного испытывать радость в мире, полном страданий, — наихудшее преступление. Надо признать, он по большей части счастлив,

у него есть жена и дети, через шесть недель он поедет в Кардифф, чтобы «нести галиматью» про Локка, Юма, Беркли и предпосылки Французской революции. По сути, он не добился того, чего мог бы, поэтому и удовольствие, и гордость за собственные слова, за восхищение юных почитателей, за красоту жены, за высокие оценки университетов Кардиффа и Суонси, Эксетера, Саутгемптона, Киддерминстера, Оксфорда, Кембриджа приходилось отвергать, скрывая за выражением «нести галиматью». Своего рода маскировка, утешение человека, который страшится своих чувств и не может сказать: «Вот что я люблю — вот кто я»; довольно убого и неприглядно, по мнению Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, искренне не понимавших, почему он прибегает к подобным ухищрениям, почему постоянно нуждается в похвалах, почему человек, храбрый в мыслях, настолько боязлив в реальной жизни, и как странно, что ум столь блистательный одновременно столь смешон.

Учить и проповедовать — выше человеческих сил, рассуждала Лили, складывая свои принадлежности. Если вознесешься слишком высоко, непременно сломаешь себе шею. Миссис Рамзи чересчур ему потакает, сказала Лили, а потом он

отрывается от книг и видит, что мы тут развлекаемся и болтаем всякую ерунду. Какой резкий контраст по сравнению с тем, что занимает его ум!

Мистер Рамзи двинулся к ним, резко замер, постоял, молча глядя на море, и снова отвернулся.

9

Да, сказал мистер Бэнкс, глядя ему вслед. Очень жаль. (Лили призналась, что он ее пугает — перемены его настроения слишком внезапны.) Да, повторил мистер Бэнкс, очень жаль, что мистер Рамзи не может вести себя чуточку приличнее, как другие люди. (Лили Бриско ему нравилась, и он мог обсуждать с ней мистера Рамзи вполне откровенно.) Вот поэтому, заметил он, молодежь и не читает Карлейля. Сварливый старый хрыч, который распаляется из-за остывшей каши, какое право он имеет нас поучать? Так рассуждает сейчас молодежь, по мнению мистера Бэнкса. Очень жаль, повторил он, ведь Карлейль — один из величайших учителей человечества. К стыду Лили, она читала Карлейля только в школе. Лично ей мистер Рамзи тем более симпатичен, что для него больной мизинец — просто конец света. Ее возмущает иное. Кого он обманывает? Неприкрыто требует лести, восхищения, его мелкие уловки довольно прозрачны. Что ей не нравится, так это его ограниченность, даже слепота, сказала она, глядя ему вслед.

— По-вашему, он ломает комедию? — осведо-

мился мистер Бэнкс, тоже посмотрев на спину мистера Рамзи и думая об их дружбе, о том, что Кэм пожадничала дать ему цветок, о всех этих мальчиках и девочках, о своем собственном доме, таком уютном и таком тихом после смерти жены. Конечно, у него осталась работа… И все же ему хотелось, чтобы Лили с ним согласилась, признала, что мистер Рамзи ломает комедию.

Лили Бриско продолжала складывать кисти, то поднимая, то опуская глаза. Подняв взгляд, она увидела мистера Рамзи — он направлялся к ним вразвалочку, небрежный, ничего не замечающий, рассеянный. Ломает комедию? — повторила она. — Нет-нет, он самый искренний, самый правдивый, самый лучший; но, опустив взгляд, подумала: слишком углублен в себя, деспотичен, несправедлив; Лили нарочно продолжала смотреть вниз, ведь только так умела сохранять спокойствие в гостях у Рамзи. Стоит поднять взгляд и увидеть кого-нибудь из них, как тут же нахлынет непреодолимая «влюбленность», как она это называла, и ты станешь частью ирреальной, но такой проникновенной и восхитительной вселенной Рамзи — мира сквозь призму любви. Небо к ним так и льнет, птицы поют только для них. И еще более увлекательно, считала Лили, на-

блюдая, как появляется и исчезает мистер Рамзи, как миссис Рамзи сидит с Джеймсом у окна, как движется облако и качается дерево, что жизнь, слагающаяся из разрозненных эпизодов, которые проживаешь один за другим, закручивается в спираль, сливается в единую волну, подхватывает тебя и швыряет с размаху прямо на берег.

Мистер Бэнкс ждал ответа. Лили едва не сказала что-нибудь осуждающее про миссис Рамзи, про ее суетливость и излишнюю бесцеремонность или что-то в этом духе, и вдруг заметила, с каким восторгом мистер Бэнкс смотрит на хозяйку дома. С учетом преклонного возраста (ему исполнилось шестьдесят), чистоты, беспристрастности ученого в незримом белом халате, приросшем к нему навеки, это был именно восторг. Такой взгляд, заключила Лили, стоит любви десятков юношей (вряд ли миссис Рамзи довелось сразить столь многих). Это любовь, подумала она, делая вид, что поправляет холст, только дистиллированная и процеженная; любовь, ничуть не стремящаяся вцепиться в свой предмет; она подобна той любви, которую математики выражают символами, а поэты словами, и должна распространиться по миру, став достижением человечества. Так оно и есть. И мир бы ее разделил, если бы мистер

Бэнкс смог внятно объяснить, чем эта женщина его прельщает, почему, наблюдая за тем, как она читает сказку сыну, он испытывает ровно те же чувства, что ощутил при удачном решении научной проблемы, когда сказал последнее слово о пищеварительной системе у растений, тем самым одержав победу над варварством и обуздав хаос.

Подобный восторг — как иначе это назвать? — заставил Лили совершенно позабыть, что она собиралась сказать. Ничего важного, что-то про миссис Рамзи. Все поблекло перед его чувством, перед молчаливым взглядом, за который она была ему признательна, ведь ничто не утешает больше, не избавляет от жизненных невзгод лучше, не облегчает самым чудесным образом твое бремя, чем эта высшая сила, дар небес, и прерывать ее — все равно что заслонить полосу солнечного света, падающую на пол комнаты.

Отрадно видеть, что люди способны так любить, что мистер Бэнкс испытывает к миссис Рамзи подобные чувства (она покосилась на задумчивого старика). Нарочито небрежно Лили поочередно вытерла кисти о старую тряпку, прячась от благоговения, простиравшегося на всех женщин, — она чувствовала себя причастной.

Пусть смотрит, а она потихоньку взглянет на картину.

Лили едва не заплакала. Все плохо, плохо, бесконечно плохо! Она могла бы сделать совершенно иначе — цвета более тонкие и блеклые, контуры более размытые — сделать так, как увидел бы Понсфорт. Но она-то видит все по-другому! Цвет буквально пылал на стальной раме — цвет крылышек бабочки на сводах собора. На холсте от этого впечатления сохранилось лишь несколько случайных мазков. И никто на него не посмотрит, никто не повесит на стену, а в ушах звучит навязчивый шепот мистера Тэнсли: «Женщины не способны рисовать, не способны писать…»

Теперь она вспомнила, что собиралась сказать про миссис Рамзи. Точные слова позабылись, но явно что-то осуждающее. Прошлым вечером ее рассердила какая-то бесцеремонность. Проследив за взглядом мистера Бэнкса, она поняла, что ни одна женщина не способна восхищаться другой женщиной так же, как он; они могут лишь вместе укрыться под пологом, который распростер над ними мистер Бэнкс. К его лучу она добавила свой лучик, подумав, что миссис Рамзи, безусловно, прелестнейшая из людей (сидит, склонившись над книгой), пожалуй, лучшая из всех; и в то

же время отличается от идеала, который в ней видят. В чем же отличие, насколько оно сильно, гадала Лили, очищая палитру от бугорков синей и зеленой краски, теперь казавшихся ей безжизненными комками, и поклялась себе, что завтра вдохнет в них жизнь, заставит двигаться, течь, выполнять ее приказы. В чем же отличие? Какая у миссис Рамзи душа — то главное, по чему без тени сомнения можно определить, что перчатка с перекрученным пальцем, забытая в углу дивана, принадлежит именно ей? Она проворна, как птица, прямолинейна, как стрела. Она своенравная, властная (конечно, напомнила себе Лили, только по отношению к женщинам, к тому же я гораздо младше, ничего из себя не представляю, живу на Бромптон-роуд). Она открывает окна в спальнях, а двери закрывает. (Лили попыталась напеть мелодию миссис Рамзи, звучавшую в голове.) Поздно вечером стучится в спальни, закутанная в старую шубку (всегда драпирует свою красоту небрежно, зато уместно), и изображает что угодно — как Чарльз Тэнсли потерял зонтик, как мистер Кармайкл шаркает тапочками и шмыгает носом, как мистер Бэнкс говорит: «Соли в овощах утрачены». Копирует она искусно, даже ехидно передергивает, а потом отходит к окну, делая вид,

что ей пора — уже рассвет, солнце поднимается — стоит вполоборота, по-свойски, и все равно насмехается, твердит, что и Лили, и Мина — все должны выйти замуж, ведь какие бы лавры вы ни снискали (хотя миссис Рамзи плевать на ее живопись) и какие бы победы ни одержали (вероятно, на долю миссис Рамзи их выпало немало), и вдруг погрустнела, помрачнела, подошла к ее креслу, ведь бесспорно одно: незамужняя женщина (она легонько взяла Лили за руку), незамужняя женщина лишает себя самого лучшего в жизни! Казалось, дом полон спящих детей и хранящей их сон миссис Рамзи, приглушенного света и мерного дыхания.

Лили могла бы возразить: у нее есть отец, есть дом, и даже, с позволения сказать, живопись. Но все это казалось таким мелким, таким наивным. Тем не менее, пока ночь сходила на нет и за шторами разгорался белый свет, в саду время от времени начинали щебетать птицы, она набиралась отчаянной храбрости, чтобы объявить себя исключением из всемирного закона, убеждать миссис Рамзи, что ей нравится быть одной, нравится быть собой; она не создана для другого; готовилась выдержать пристальный взгляд бесподобной глубины и столкнуться с простодушной

уверенностью миссис Рамзи (иногда она вылитое дитя), что ее милая Лили Бриско — просто дурочка. Затем, вспомнила Лили, она положила голову миссис Рамзи на колени и смеялась, смеялась, смеялась, смеялась почти в истерике при мысли о том, что миссис Рамзи с величавым спокойствием вершит судьбы тех, кого совершенно не понимает. Так она и сидела — простая, серьезная. Вернулось прежнее ощущение от миссис Рамзи — перекрученный палец перчатки. Ну-с, и на какую святыню мы посягаем? Лили Бриско наконец осмелилась поднять взгляд — миссис Рамзи совершенно не понимала, что вызвало ее смех, все такая же величавая, но уже без тени сумасбродства, вместо которого проступило нечто ясное, как просвет в облаках — кусочек неба, спящего подле луны.

То ли мудрость, то ли осознание? Или вновь обманчивость красоты, благодаря которой сбиваешься с мысли на полпути к истине, запутавшись в золотой сетке? Или миссис Рамзи замкнулась в себе, храня некую тайну, ведь без людских тайн, полагала Лили Бриско, мир просто рухнет. Не могут же все жить, как она, перебиваясь чем попало. Если знают, почему бы не сказать? Сидя на полу и обнимая колени миссис Рамзи, прижав-

шись близко-близко, улыбаясь при мысли о том, что миссис Рамзи никогда не узнает причину этого напора, Лили представляла, что в чертогах разума и сердца женщины, которая ее касалась, словно сокровища в королевской гробнице, хранятся скрижали со священными заповедями; если сможешь их прочесть, то научишься всему, но их никогда не предлагают открыто, никогда не предают огласке. Каким образом, с помощью любви или обмана, можно проникнуть в те тайные чертоги? Каким устройством воспользоваться, чтобы подобно воде в сосуд проникнуть в предмет своего обожания? Способно ли тело или разум незаметно смешаться с запутанными извилинами мозга? Или изгибами сердца? Способна ли любовь, как люди это называют, сделать ее и мистера Рамзи одним целым? Сама Лили желала не знания, а единения, не заповедей на скрижалях, ничего, что можно написать на любом из известных человечеству языков, — она желала той близости, которая и есть знание, думала она, положив голову на колени миссис Рамзи.

Пока Лили так сидела, не происходило ничего — ровным счетом ничего! И все же она понимала, что в сердце миссис Рамзи хранятся знание и мудрость. Как, вопрошала она себя, узнать о людях

хоть что-нибудь, если они такие закрытые? Разве только подобно пчеле, влекомой сладостью или остротой, разлитой в воздухе, неуловимой ни на вкус, ни на ощупь, человек устремится в куполообразный улей, потом полетает в одиночку над разными странами и вновь вернется к ульям с их гулом и оживленностью; к ульям, которые и есть люди. Миссис Рамзи поднялась. Лили поднялась. Миссис Рамзи ушла. И еще долго вокруг нее витал легкий гул, едва уловимый, словно перемена в человеке, который тебе приснился, гораздо более отчетливый, чем все ее слова, когда она сидела у окна гостиной в плетеном кресле, сохраняя величественную форму — форму купола.

Этот луч прошел вровень с лучом мистера Бэнкса прямо к миссис Рамзи, которая сидела и читала Джеймсу, устроившемуся на ее коленях. Пока Лили смотрела, мистер Бэнкс закончил. Он надел очки. Отошел назад, поднял руку. Он слегка прищурил ясные голубые глаза, Лили запоздало очнулась, поняла, к чему идет дело, и сжалась, словно собака при виде руки, занесенной для удара. Можно было схватить картину и спрятать, но она сказала себе: я должна. И приготовилась выдержать ужасное испытание. Я должна, сказала она, я должна. Если уж показывать картину,

пусть это будет мистер Бэнкс. Демонстрировать чужим глазам сухой остаток своих тридцати трех лет, залежи прожитых дней, смешанные с чем-то очень сокровенным, о чем она не отваживалась заговорить, не позволяла себе проявить открыто, невыносимо и в то же время необычайно волнительно.

Все произошло спокойно и весьма буднично. Достав перочинный нож, мистер Бэнкс постучал по холсту костяной рукояткой. Что она намеревалась отобразить фиолетовым треугольником «вот здесь?», поинтересовался он.

Лили пояснила, что это миссис Рамзи читает Джеймсу. Она предвидела его возражение: на человеческую фигуру совершенно не похоже. Но к сходству она и не стремится. Тогда зачем они там? Действительно, зачем? Разве что в другом углу слишком светло, и ей понадобилось добавить сюда тени. Как говорится, просто, очевидно, банально, однако мистер Бэнкс заинтересовался. Мать и дитя — предметы всеобщего почитания, в этом же случае мать известна своей красотой, значит, рассудил он, ее можно свести к фиолетовой тени, ничуть не принизив.

Картина не про них, возразила Лили. Или не в том смысле, что вкладывает он. Есть и другие

средства, которыми их можно превознести. С помощью тени и света, к примеру. Такую вот форму приняла дань ее уважения, поскольку она смутно чувствовала, что картина должна быть данью уважения. Мать и дитя нужно свести к тени, что их ничуть не принижает. Свет в одном месте требует тени в другом. Мистер Бэнкс задумался. Ему было интересно. Он добросовестно воспринял объяснение с научной точки зрения. По правде говоря, все его пристрастия — на стороне другого направления в живописи. У него в гостиной висит большая картина, которую художники превозносят и ценят гораздо выше, чем он за нее отдал, вишни в цвету на берегах Кеннета. Там он провел медовый месяц, пояснил мистер Бэнкс. Ей стоит прийти и взглянуть на полотно, сказал он. А теперь… Он повернулся к холсту, подняв очки на лоб, и приступил к научному изучению. Поскольку весь вопрос в том, как соотносятся скопления света и тени, о чем он, честно говоря, никогда не задумывался, ему хотелось бы выслушать ее объяснение: что она намерена делать вот с этим? И он обозначил место на картине. Лили смотрела. Она не могла показать, что намерена делать, даже сама не понимала этого без кисти в руке и приняла привычную позу художника

с тусклым взглядом и небрежными манерами, направив все свои чисто женские впечатления в гораздо более общее русло, снова оказавшись во власти того образа, который восприняла очень ярко, а теперь вынуждена отыскивать среди живой изгороди, домов, матерей и детей — своей картины. Вопрос в том, как связать скопление цвета справа с тем, что слева. Она могла бы провести линию-ветку через весь холст или разбить пустоту заднего плана каким-нибудь предметом (возможно, изобразив Джеймса). Опасность в том, что тогда нарушится единство замысла. Лили умолкла, не желая больше его утомлять, и сняла холст с мольберта.

Теперь картину увидели, забрали у нее. Посторонний человек разделил с ней нечто глубоко личное. И, благодаря за это мистера и миссис Рамзи, поскольку была обязана им временем и местом, поскольку они наделяли мир силой, о которой она даже не подозревала (оказывается, можно идти по длинной галерее жизни не в одиночестве, а рука об руку с кем-нибудь — самое странное и пьянящее чувство на свете), Лили защелкнула замочек на этюднике чуть более решительно, чем необходимо, и этим звуком навеки замкнула в кольцо этюдник, лужайку,

мистера Бэнкса и отчаянную негодницу Кэм, пронесшуюся мимо.

10

Кэм едва разминулась с мольбертом; ее не остановила ни Лили Бриско, ни протянувший руку мистер Бэнкс, ведь он был не прочь иметь такую дочку, ее не остановил ни отец, в которого она тоже едва не врезалась, ни мать, крикнувшая: «Кэм, подойди на минутку!». Она летела как птица, как пуля, как стрела, движимая неизвестно каким желанием, пущенная неизвестно кем и в какую цель. Что, ну что с ней такое? — гадала миссис Рамзи. Может быть, ее влекла неведомая мечта — ракушка, садовая тележка, сказочное королевство по другую сторону живой изгороди или просто упоение скоростью — кто знает? Но когда миссис Рамзи окликнула Кэм во второй раз, снаряд свернул с курса, и Кэм нехотя направилась к матери, сорвав по пути листочек.

О чем она мечтает, гадала миссис Рамзи, глядя на погруженную в раздумья дочь, так что даже пришлось повторить просьбу: спроси у Милдред, вернулись ли Эндрю, мисс Дойл и мистер Рэйли. Слова точно падали в колодец, и даже если вода там была прозрачной, то искажала их до неузнаваемости — Бог знает, что за рисунок

останется на дне детского разума. Какое послание доставит Кэм кухарке? Миссис Рамзи не знала. И в самом деле, оставалось лишь терпеливо ждать и слушать про то, как на кухне пьет из миски суп старушка с очень красными щеками, а потом миссис Рамзи удалось пробудить в ней подражательный рефлекс, благодаря которому девочка уловила слова Милдред довольно точно и смогла воспроизвести, монотонно пробубнив. Переминаясь с ноги на ногу, Кэм повторила: «Нет еще; я велела Эллен убирать со стола чай».

Видимо, Минта Дойл с Полом Рэйли не вернулись. Это может означать, подумала миссис Рамзи, только одно: придется принять его либо отказать ему от дома. Прогулка после ланча, даже в компании Эндрю — что еще это может означать? — все я рассудила правильно, поняла миссис Рамзи (Минта ей очень, очень нравилась), и остается лишь принять славного юношу, пусть он и не слишком умен, но ведь ей, подумала миссис Рамзи (Джеймс потеребил ее за подол, желая услышать продолжение сказки про рыбака и его жену), лично ей гораздо более по сердцу такие вот балбесы, нежели умники, которые пишут диссертации, — Чарльз Тэнсли, к примеру. Так или иначе, наверное, все уже случилось.

И миссис Рамзи прочла: «На следующее утро жена проснулась на рассвете и увидела благодатную страну, которая простиралась кругом замка. Ее муж еще спал…»

Разве Минта сможет ему отказать? Ведь она бродила с ним по окрестностям целыми днями — Эндрю наверняка ушел за крабами, — но с ними могла отправиться и Нэнси. Миссис Рамзи пыталась вспомнить, как они стояли в дверях после ланча. Смотрели на небо, сомневались насчет погоды, и она сказала, отчасти желая помочь им справиться со смущением, отчасти чтобы подбодрить (симпатии миссис Рамзи были на стороне Пола): «На небе — ни облачка», и Чарльз Тэнсли, вышедший следом, хихикнул. Она сделала это нарочно. Неизвестно, увязалась Нэнси за ними или нет, думала миссис Рамзи, переводя мысленный взор с Минты на Пола.

Она продолжила читать: «Эх, жена, — вздохнул рыбак, — зачем тебе быть королевой? Ну какой из меня король?! Не хочешь — не надо, — ответила жена, — а я буду! Ступай к камбале и сделай меня королевой!»

— Либо входи, либо выходи, Кэм, — велела она, зная, что Кэм привлекло слово «камбала» и через миг она начнет ерзать и ссориться с Джеймсом.

Кэм унеслась прочь. Миссис Рамзи облегченно продолжила читать, ведь вкусы у них с Джеймсом совпадали и им было хорошо вдвоем.

— И когда пришел он к морю, море стало темно-серым, волны вздымались высоко и пахли гнилью. Встал он на берегу и сказал:

Ка́мбала, ка́мбала, рыба морская,
Выйди на берег, тебя умоляю,
Вновь Изабель, жена моя,
Против воли шлет меня.

«Ну, и чего она хочет теперь?» — спросила камбала. Где же они теперь? — гадала миссис Рамзи, без всякого труда читая и размышляя одновременно, потому что история рыбака и его жены была для нее словно басовая партия, которая нежно вплеталась в мелодию и время от времени обретала неожиданно громкое звучание. И когда расскажут ей? Если ничего не произошло, придется поговорить с Минтой серьезно, потому что нельзя разгуливать повсюду с Полом, даже в присутствии Нэнси (она снова безуспешно попыталась представить, как они удаляются по тропинке, и пересчитать силуэты). Она отвечает за Минту перед ее родителями — перед Совой и Кочергой. Придуманные ею самой прозвища

неожиданно вспыхнули в памяти. Сова и Кочерга — вот разозлятся, когда узнают! — а они наверняка узнают, — что Минту, гостившую у Рамзи, видели в компании — и так далее и тому подобное. «Он носит парик в палате общин, а она успешно помогает ему с карьерой, устраивая званые приемы», — повторила миссис Рамзи вспомнившуюся фразу, которой вздумала развлечь мужа, вернувшись с очередного приема. Господи, как их угораздило произвести на свет столь нелепое создание? Девицу-сорванца в дырявых чулках? Как она умудрилась выжить в столь напыщенной атмосфере, где горничная беспрестанно выносит совок с песком, рассыпанным попугаем, и беседа вечно сводится к проделкам — может, порой интересным, но весьма однообразным — этой птицы? Как же было не пригласить ее на ланч, на чай, на обед, наконец, погостить здесь, в Финли, что неизбежно привело к трениям с Совой, ее матерью, и последовало еще больше визитов, больше разговоров, больше песка — на самом деле миссис Рамзи в жизни столько не лгала, восхищаясь попугаями (как она призналась мужу в тот вечер, когда вернулась с приема). Зато Минта приехала… Да, приехала, думала миссис Рамзи, нащупав занозу в спутан-

ном клубке своих мыслей, потянула за ниточку и добралась до истины: когда-то одна женщина ей заявила, что миссис Рамзи «лишает ее привязанности собственной дочери», и слова миссис Дойл напомнили ей то давнее обвинение. Желание властвовать, вмешиваться, заставлять других подчиняться — вот в чем ее обвиняли, причем совершенно несправедливо. Разве она виновата, что красива? Миссис Рамзи ничуть не стремилась произвести впечатление, часто стыдилась своей неряшливости. И вовсе она не властная и не деспотичная! Впрочем, если дело касалось больниц, водостоков и молочных продуктов, то она давала себе волю — к подобным вещам невозможно относиться равнодушно и, представься такая возможность, она с удовольствием хватала бы людей за шиворот и заставляла узреть все эти безобразия. На целый остров — ни одной больницы! Какой позор! В Лондоне молоко доставляют прямо к порогу, и оно буквально коричневое от грязи. Это следует пресечь! Ей хотелось устроить здесь образцовый молочный магазин и больницу, но где найти время? У нее дети, пока все не подрастут, не пойдут в школу, времени совершенно не хватит.

Как же ей не хотелось, чтобы Джеймс по-

взрослел хотя бы на день! Да и Кэм тоже. Двоих младших она с удовольствием сохранила бы именно такими, как сейчас — озорными бесенятами, прелестными ангелочками, — и не видела, как они вырастают в длинноногих чудовищ. Утрата поистине невосполнимая! Читая Джеймсу про солдат с литаврами и трубами, глядя, как темнеют его глаза, миссис Рамзи думала: почему они взрослеют и все это утрачивают? Джеймс — самый одаренный, самый чуткий из ее детей. Впрочем, все они подают большие надежды. Прю — чистый ангел по сравнению с остальными, такая красивая, что просто дух захватывает, особенно по вечерам. Эндрю… Даже муж признает, что у него выдающиеся способности к математике. Нэнси с Роджером — те еще непоседы, носятся на приволье целыми днями. Что же касается Роуз, то она не смолчит, зато руки золотые. Какие шьет платья для домашних спектаклей, как искусно накрывает на стол, какие составляет букеты — да все, что угодно! Миссис Рамзи не нравилось, что Джаспер стреляет по птицам, но у него просто этап такой, все дети проходят через определенные этапы. Почему, спрашивала она себя, прижавшись подбородком к головке Джеймса, почему они растут так быстро? Зачем им ходить

в школу? Ей всегда хотелось иметь детей. Какое счастье держать на руках младенца! Пусть люди считают ее властной и деспотичной, если угодно, — ей все равно. Касаясь волос ребенка губами, она подумала: больше никогда ему не быть таким счастливым, и тут же оборвала себя, вспомнив, как рассердился муж, услышав подобные слова. И все же это правда. Сейчас у детей золотая пора, больше так не будет. Кукольный сервиз за десять пенсов мог сделать Кэм счастливой на много дней. Едва они просыпались, над головой раздавался топот ног и радостные крики. Дети гурьбой неслись по коридору, дверь распахивалась, и они влетали в столовую — свежие как огурчики, с горящими глазами, вполне очнувшись от сна, словно прийти на завтрак, как они делали каждый божий день, — настоящее событие; и так далее, одно за другим, целый день напролет, пока миссис Рамзи не поднималась наверх пожелать им доброй ночи и не обнаруживала их под москитными сетками: уютно устроились в кроватках, словно птички среди зарослей вишни и малины, обсуждают всякую чепуху — что услышали за день, что сорвали в саду. И все свои маленькие сокровища… Она спустилась вниз и сказала мужу: зачем им вырастать и лишаться

всего этого? Сейчас у них самая счастливая пора, больше так не будет. А он разозлился. К чему смотреть на жизнь столь мрачно? Он сказал, что это неразумно. Как ни странно, при всей своей мрачности и безысходности, в целом муж был гораздо счастливее и оптимистичнее, чем она. Меньше подвластен человеческим заботам — пожалуй, в том-то и дело. Его всегда поддерживала наука. Миссис Рамзи вовсе не считала себя пессимисткой, как обозвал ее муж. Просто думала, что жизнь — тонкая полоска времени перед глазами, ее пятьдесят прожитых лет… Жизнь лежит передо мной, подумала миссис Рамзи, жизнь… Но не довела мысль до конца. Она смотрела на жизнь, ощущая ее как нечто зримое, реальное, глубоко личное, чем не делилась ни с детьми, ни с мужем. Миссис Рамзи заключила с ней сделку и всегда стремилась получить больше, чем ей полагалось; порой они вступали в переговоры (когда она сидела в одиночестве), за которыми следовали сцены великих примирений, но по большей части, как ни удивительно, следует признать, что жизнь казалась ей ужасной, враждебной силой, готовой обрушиться на нее в любой момент. Есть извечные проблемы — страдание, смерть, бедность. Постоянно какая-нибудь жен-

щина умирает от рака — даже здесь, в Финли. И все же она говорила своим детям: вы должны через это пройти. Она непрестанно повторяла это всем восьмерым (не забывая напоминать про пятьдесят фунтов за починку теплицы). Именно поэтому, зная, что их ждет — любовь и честолюбивые замыслы, безотрадное одиночество в самых унылых краях, — она часто думала: зачем им вырастать и лишаться всего этого? И тогда говорила себе, потрясая перед жизнью мечом: вздор! Мои дети будут счастливы! И вот опять миссис Рамзи задумалась о своей нелегкой судьбе и все же вынуждает Минту выйти замуж за Пола Рэйли, ведь как бы сама ни относилась к сделке с жизнью, какие бы испытания ни выпали на ее долю (к чему вдаваться в подробности?), она продолжала настаивать — пожалуй, слишком рьяно, словно видела в том спасение и для себя лично, — что люди должны жениться, должны заводить детей.

Неужели я неправа, задавалась она вопросом, критически оценивая свое поведение за последнюю неделю или две, и думала, не слишком ли давит на Минту, которой всего двадцать четыре, заставляя решиться? Миссис Рамзи засомневалась. Не зря же она сама смеялась над собой!

Неужели опять забыла, как сильно ее влияние на людей? Для брака требуется столько всего — столько всяких качеств (починка теплицы обойдется в пятьдесят фунтов), и самое главное (об этом и говорить нечего) — то, что есть между ними с мужем. Есть ли оно у Пола с Минтой?

— «И тогда он надел штаны и бросился прочь как безумный, — прочитала она. — Снаружи бушевала страшная буря, ветер сбивал с ног, сметал дома, вырывал деревья с корнями, горы дрожали, скалы падали в море, небо почернело и дрожало от грома и молний, по морю бежали увенчанные белой пеной черные валы высотой с колокольни и горы…»

Миссис Рамзи перевернула страницу — оставалось всего несколько строк, значит, сказку они закончат сегодня, хотя давно пора ложиться спать. Уже поздно, поняла она по сумеречному саду, побелевшим цветам и посеревшим листьям и ощутила смутную тревогу, причин для которой вроде бы не было. Потом вспомнилось: Пол с Минтой и Эндрю не вернулись. Перед ее мысленным взором вновь предстала вся компания на пороге — стоят и смотрят в небо. У Эндрю — сеть и корзинка. Значит, собрался ловить крабов и прочую живность. Значит, собрался лазать по

скалам, и его отрежет прилив. Или они пойдут обратно по узкой тропинке гуськом, и кто-нибудь поскользнется прямо на вершине утеса — покатится вниз кубарем и разобьется! Между тем стремительно темнело.

Однако голос ее ничуть не дрогнул, когда она дочитала сказку, закрыла книгу и проговорила последнюю фразу так, словно сочинила ее сама, глядя Джеймсу в глаза: «Там они и живут себе по сей день».

— Конец, — добавила миссис Рамзи, наблюдая, как в глазах ребенка гаснет интерес к сказке и вспыхивает нечто иное — смутное восхищение, похожее на отблеск света. Обернувшись, она посмотрела на залив и, конечно же, увидела над волнами две короткие вспышки и одну долгую — маяк уже зажгли.

Сейчас сын спросит: «Мы поедем на маяк?» И придется ответить: «Завтра не поедем, папа говорит, что нет». К счастью, за ними пришла Милдред, и Джеймс отвлекся, хотя и продолжал поглядывать через плечо, когда его уносили из комнаты. Миссис Рамзи знала наверняка, о чем он думает («на маяк завтра не поедем»), и боялась, что он не забудет об этом всю жизнь.

11

Нет, размышляла миссис Рамзи, складывая вырезанные сыном картинки — холодильник, газонокосилка, джентльмен в вечернем костюме, — дети ничего не забывают. Вот почему так важно все, что говоришь и делаешь. Хорошо хоть, спать легли, ведь теперь ни о ком думать не надо. Она могла побыть собой, лишь оставшись одной. Ей так часто этого не хватало — подумать, точнее, даже не подумать, нет. Просто помолчать, оставшись одной. Исчезает необходимость жить и делать, общаться, блистать, и ты с ликованием уменьшаешься в несколько раз, становишься прежней — клиновидным сгустком мрака, невидимым для посторонних глаз. Продолжая вязать и сидеть прямо, именно так она себя и ощущала, избавившись от всех привязанностей и открывшись самым удивительным переживаниям. Когда жизнь ненадолго замирает, границы бытия расширяются до бесконечности. И у всех, полагала миссис Рамзи, есть это ощущение неисчерпаемости ресурсов — и сама она, и Лили, и Август Кармайкл наверняка осознают, что наши внешние проявления — то, по чему нас узнают

другие, — глупое ребячество, за которым расстилается темнота, непроницаемая и бездонная, но время от времени мы поднимаемся на поверхность и становимся видны другим. Жизненный горизонт казался ей бесконечным. Он включал все места, где она не бывала, — просторы Индии, сень римского храма. Сгусток мрака мог проникнуть куда угодно, потому что его не видел никто. Им его не остановить, ликовала она. В нем — свобода, в нем — мир и, наконец, самое желанное — возможность собрать себя воедино, опереться на внутренние устои. По ее опыту, никому не найти покоя нигде (миссис Рамзи ловко исполнила спицами какой-то фортель), кроме как в этом клинышке мрака. Утрачивая индивидуальность, вместе с ней забываешь и про тревоги, суету, заботы; в такие моменты с губ ее рвался крик торжества над жизнью, когда сходятся воедино мир, покой, вечность; сделав передышку, она встретилась взглядом с лучом маяка — длинной вспышкой света, последней из трех, которая принадлежала ей, ведь наблюдая за чем-нибудь в подобном настроении, в подобное время, поневоле привязываешься к тому, что видишь, а она видела долгий, ровный луч, значит, луч принадлежал ей. Часто она ловила себя на

том, что сидит и смотрит, сидит и смотрит с рукоделием в руках, пока не превратится в то, на что смотрит, — к примеру, в свет маяка. И это поднимало из глубин сознания ту или иную фразу (Дети ничего не забывают, дети ничего не забывают), которую она начинала твердить, добавляя к ней что-нибудь еще: пройдет, все пройдет, говорила она, случится, это случится, и вдруг неожиданно для себя произнесла: «Все в руках Божьих».

И тут же на себя рассердилась. При чем здесь это? Она вовсе не имела в виду ничего подобного! Миссис Рамзи отвлеклась от вязания, встретила взглядом третью вспышку маяка и словно посмотрела в глаза самой себе, проникла в свою душу и сердце, очистившись от лжи, от любой лжи. Она вознесла себе хвалу, превознося свет, вознесла без тени тщеславия, ведь и сама она такая же неумолимая, взыскующая и прекрасная. Странно, подумала миссис Рамзи, как в одиночестве нас тянет к предметам неодушевленным — к деревьям, ручьям, цветам, — как они отображают тебя, становятся тобой; как чувствуешь, что в той или иной мере вы едины, и вместе с тем ощущаешь необъяснимую нежность (она смотрела на длинный, ровный луч) как к себе самой. Она смотрела и смотрела, позабыв про спицы, а со дна

сознания, со дна озера ее души, поднимался легкий туман, словно невеста навстречу любимому.

Она гадала, что заставило ее сказать: «Все в руках Божьих»? Меж истин проскользнула ложь, и это раздражало. Миссис Рамзи вернулась к вязанию. Разве мог сотворить этот мир какой-нибудь бог? Умом она всегда понимала, что в мире нет ни смысла, ни порядка, ни справедливости — лишь страдания, смерть, нищета. Она знала, что мир не гнушается никакой низостью. Она знала, что любое счастье недолговечно. Она вязала с твердым самообладанием, слегка поджав губы и, сама того не замечая, сделала такое суровое и строгое лицо, что проходивший мимо муж, хотя и усмехнулся при мысли о том, как философ-просветитель Юм невероятно растолстел и однажды застрял в болоте, и все же мистер Рамзи не мог не отметить, что в основе ее красоты лежит суровость. Это его опечалило, а ее холодность больно ранила, и он почувствовал, проходя мимо, что не может ее защитить, и, подойдя к живой изгороди, загрустил. Он ничем не в силах ей помочь, вынужден стоять в стороне и наблюдать. Несомненная, проклятая правда в том, что с ним ей только хуже! Он несдержанный, обидчивый — вспылил из-за маяка… Мистер Рамзи вгляделся в переплетение

ветвей, черневших в темноте.

Всегда, чувствовала она, человек помогает себе справиться с одиночеством, скрепя сердце хватаясь за какую-нибудь мелочь — звук или образ. Миссис Рамзи прислушалась, но было очень тихо — крикет закончился, дети ушли мыться, остался лишь шум моря.

Она перестала вязать, опустила длинный красно-коричневый чулок. Она вновь увидела свет. С долей иронии, ведь стоит наконец очнуться, и все воспринимается иначе, смотрела на ровный свет, безжалостный и бесцеремонный, так похожий и не похожий на нее саму, который всегда держал ее на побегушках (она просыпалась посреди ночи и видела, как луч изгибается над кроватью, скользит по полу), и, несмотря на все, что думала, наблюдая за ним с восхищением, как зачарованная, словно тот водил серебристыми пальцами по запечатанному сосуду в мозгу, разрыв которого вот-вот затопит ее восторгом, она познала счастье, острое и насыщенное, и в свете гаснущего дня бурные волны серебрились чуть ярче, море утрачивало синеву и становилось лимонно-желтым, накатывало валами и обрушивалось на берег, а в глазах вспыхивало наслаждение, волны блаженства бежали по дну ее сознания, и

она чувствовала: этого достаточно! Достаточно!

Мистер Рамзи обернулся и увидел ее. До чего прелестна — прелестнее, чем ему помнилось. Заговорить он не решался. Ни к чему ее тревожить. Ему хотелось с ней поговорить, ведь Джеймс ушел спать и она наконец осталась одна. И все же он не стал бы ее тревожить.

Так недостижима, отгородилась своей красотой, своей печалью. Он прошел бы мимо без единого слова, хотя ему и больно было видеть ее такой отстраненной — ни дотянуться, ни помочь.

И снова прошел бы мимо, не сказав ни слова, если бы в тот самый миг жена по собственной воле не дала ему то, о чем, как она знала, он никогда не попросит, и не окликнула его, и не сняла зеленую шаль с картины, и не подошла сама. Она знала, что ему хочется ее защитить.

12

Миссис Рамзи набросила на плечи зеленую шаль, взяла мужа за руку. До чего красив, внезапно сказала она, имея в виду Кеннеди, садовника, настолько неотразим, что и увольнять жалко. К стене была приставлена лестница, вокруг прилипли комочки замазки — к починке теплицы все-таки приступили. Прогуливаясь туда-сюда с мужем, миссис Рамзи чувствовала: хотя бы один источник беспокойства иссяк. На языке вертелась фраза: «Это обойдется нам в пятьдесят фунтов», но как всегда, если речь заходила о деньгах, у нее не хватило духу, и она пожаловалась, что Джаспер стреляет по птицам, и мистер Рамзи тут же ее заверил, что для мальчишки это вполне естественно и вскоре он наверняка найдет себе более достойное развлечение. Ее муж — человек разумный и справедливый. «Да, все дети проходят определенные этапы», — согласилась она и начала рассматривать георгины на большой клумбе, размышляя, что посадить на следующий год, и спросила, знает ли он, каким прозвищем дети наградили Чарльза Тэнсли. Атеист, они называют его мелким атеистом. «Сам заслужил

своими манерами», — заметил мистер Рамзи. «Вот именно», — поддакнула миссис Рамзи.

Наверное, лучше оставить его в покое, сказала миссис Рамзи, размышляя, стоит ли выписывать луковичные — их вообще посадят? «Ему нужно заниматься диссертацией», — напомнил мистер Рамзи. Про его диссертацию она знает буквально все, заявила миссис Рамзи. Он только о ней и говорит. Пишет про влияние кого-то на что-то. «Больше ему рассчитывать не на что», — кивнул мистер Рамзи. «Молись небесам, чтобы он не влюбился в Прю!» — предупредила миссис Рамзи. Тогда он лишит ее наследства, пообещал мистер Рамзи. Он смотрел не на цветы, которые разглядывала жена, а на добрый фут выше, уставившись в одну точку. Вреда от Тэнсли не будет, добавил он и как раз собирался отметить, что это единственный молодой человек в Англии, который восхищается… и подавил порыв. Он больше не станет тревожить ее своими книгами. Цветы вполне достойны похвалы, проговорил мистер Рамзи, опустив взгляд и обратив внимание на что-то красное, что-то коричневое. Да, ведь она сажала их своими руками, сообщила миссис Рамзи. Вопрос в том, что произойдет, если она выпишет луковичные — Кеннеди посадит

их или нет? Неисправимый лентяй, прибавила она, двинувшись дальше. Если стоять у него над душой целый день, может, и ударит палец о палец. И они неспешно направились к зарослям огненно-красной книпхофии. «Ты и дочерей учишь преувеличивать», — неодобрительно отозвался мистер Рамзи. Миссис Рамзи заметила, что ее тетушка Камилла была гораздо хуже. «Насколько мне известно, ни у кого бы язык не повернулся назвать твою тетушку Камиллу образцом добродетели», — заявил мистер Рамзи. «Женщин красивее я не встречала», — призналась миссис Рамзи. «Зато я встречал», — отрезал мистер Рамзи. «Прю вырастет гораздо красивее меня», — произнесла миссис Рамзи. «Пока на это ничто не указывает», — возразил мистер Рамзи. «Сам взгляни сегодня», — посоветовала миссис Рамзи. Помолчали. Ему хотелось, чтобы Эндрю учился усерднее. Если не возьмется за ум, рискует остаться без стипендии. «Ох уж эти стипендии!» — воскликнула она. Мистер Рамзи счел замечание откровенной глупостью, ведь стипендия — вещь серьезная. Если Эндрю ее получит, то он будет очень гордиться сыном. А если не получит, возразила миссис Рамзи, то она будет гордиться сыном ничуть не меньше. Они

вечно об этом спорили, но ей нравилось, что муж верит в стипендию, а ему нравилось, что она гордится Эндрю, несмотря ни на что. Внезапно ей вспомнились узкие тропки на краю скал.

Не поздновато ли? — спросила она. До сих пор они не вернулись. Мистер Рамзи небрежно раскрыл часы. Только половина восьмого. Он подержал часы, раздумывая, сказать ли ей, что почувствовал на террасе. Прежде всего, ни к чему так нервничать. Эндрю способен о себе позаботиться. К тому же ему хотелось сказать ей, что на террасе… И он ощутил неловкость, словно вторгся в ее уединение, нарушил ее отрешенность… Но она настаивала. Так что же он хотел сказать, спросила миссис Рамзи, думая про поездку на маяк, надеясь услышать извинения. И ошиблась. Ему не нравится видеть ее такой печальной, признался мистер Рамзи. Просто витала в облаках, возразила она, чуть покраснев. Обоим стало неловко, словно они не знали, идти дальше или вернуться. Она читала Джеймсу сказки, пояснила миссис Рамзи. Нет, разделить этого они не могли, как и обсуждать вслух.

Они дошли до прогала в зарослях книпхофии и снова увидели свет маяка, но миссис Рамзи не стала на него смотреть. Знала бы, что муж на-

блюдает, ни за что не позволила бы себе сидеть, задумавшись! Ее раздражало все, что напоминало о былой задумчивости. Она оглянулась на город. Огни дрожали и перемещались, словно серебристые капли воды на ветру. Вот где вся нужда, все страдания, подумала миссис Рамзи. Огни города, гавани и судов казались призрачной плавучей сетью, обозначавшей место, где что-то ушло на дно. Если мне не суждено разделить ее мысли, сказал себе мистер Рамзи, лучше уйти. Ему хотелось размышлять о своем, вспоминать анекдот про Юма, застрявшего в болоте, ему хотелось смеяться. Зачем так тревожиться об Эндрю — что за глупость?! В его годы мистер Рамзи целыми днями гулял по окрестностям налегке, с галетой в кармане, и никто о нем не тревожился и не думал, что он свалится со скалы. Вслух же заметил, что отправится на дневную прогулку, если погода позволит. Хватит с него Бэнкса и Кармайкла! Ему захотелось уединения. Хорошо, ответила она. Его рассердило, что она не стала возражать. Миссис Рамзи знала, что никуда он не пойдет. Слишком стар, чтобы гулять весь день с галетой в кармане. Она переживала за мальчиков, но не за него. Стоя у прогала в зарослях книпхофии и глядя на залив, он вспомнил, как много лет назад, еще

до женитьбы, гулял целыми днями. Питался в трактире хлебом с сыром. Работал по десять часов без перерыва, а старуха иногда заглядывала в комнату, присматривая за камином. Ему очень нравилось среди дюн, уходящих во тьму. Можно было бродить целыми днями и никого не встретить. Ни дома, ни деревни на мили вокруг. Можно было разобраться во всем в одиночку. На мелкие песчаные пляжи испокон веков не ступала нога человека. Морские котики садились и смотрели на него, ничуть не боясь. Иногда ему казалось, что там, в домишке, совсем один… Он оборвал себя и вздохнул. Отец восьмерых детей не имеет на это права, напомнил себе мистер Рамзи. Надо быть последней скотиной, чтобы желать хоть что-нибудь изменить. Эндрю вырастет гораздо лучшим человеком, чем он сам. Прю станет красавицей, как говорит ее мать. Они немного сдержат хаос. В общем и целом, все его восемь детей удались. Судя по ним, не так уж он и подвел сей бедный мирок, особенно в столь дивный вечер, подумал мистер Рамзи, глядя на тающую вдали землю, и островок суши показался ему прискорбно крохотным, наполовину поглощенным морем.

— Бедный, несчастный островок, — прошептал он, вздохнув.

Жена услышала. Он говорил ужасно тоскливые вещи, но она заметила, что стоит ему высказаться, как он становится гораздо жизнерадостнее, чем обычно. Твое фразерство — просто игра, подумала миссис Рамзи, ведь если бы подобные мысли озвучила она, то давно бы застрелилась.

Пустое фразерство ее раздражало, и она сказала, как ни в чем не бывало, что вечер прелестный. Вздыхать совершенно не о чем, воскликнула она со смехом и с огорчением, потому что догадалась, о чем муж подумал: он написал бы гораздо лучшие книги, если бы не женился.

Вовсе он не жалуется, заявил мистер Рамзи. Она сама знает, жаловаться ему совершенно не на что. И он поднес ее руку к губам и поцеловал с таким пылом, что она прослезилась, и тут же выпустил.

Они отвернулись от залива и побрели по дорожке через заросли серебристо-зеленых растений, чьи листья похожи на копья. Рука у него почти как у юноши, подумала миссис Рамзи, тонкая и крепкая, и восхитилась, какой он сильный в свои шестьдесят с небольшим, какой неукротимый и оптимистичный, и до чего странно, что при всей уверенности в том, что жизнь полна ужасов, муж вовсе не падает духом и даже бодрится. Разве не

странно? — размышляла она. Иногда ей казалось, что он устроен иначе, чем другие люди, родился слепым, глухим и немым для обычных вещей, зато все необычное улавливает зорко, словно орел. Порой прозорливость мужа ее поражала. Но замечает ли он цветы? Нет. Замечает ли вид со скалы? Нет. Замечает ли красоту собственной дочери, знает ли, что на тарелке лежит пудинг или ростбиф? Сидит за столом с отсутствующим взглядом, словно грезит наяву. Вдобавок взял за обыкновение разговаривать вслух или декламировать стихи, чем дальше, тем больше, опасалась она, ведь порой бывает довольно неловко…

Лучшие умы и таланты – прочь! [2]

У бедняги мисс Гиддингс, когда он это прокричал, душа ушла в пятки. Впрочем, подумала миссис Рамзи, — мгновенно принимая его сторону против всех скудоумных Гиддингс мира и легким пожатием руки дав мужу понять, что не поспевает за ним в гору и хочет остановиться, чтобы поглядеть, не появились ли на берегу свежие кротовины, — впрочем, подумала она, сходя с дорожки, столь великий ум и должен

---

[2] Примечания: 2
П.Б.Шелли. «Приглашение» (1811).

отличаться во всех отношениях. Таковы все великие люди, кого ей довелось узнать, думала она, гадая, не завелся ли там кролик, и молодежи полезно (хотя самой миссис Рамзи атмосфера лекционных залов казалась душной и поистине невыносимой) послушать, даже просто на него посмотреть. Если кроликов не стрелять, как от них избавиться? Может, кролик, может, крот. В любом случае какой-то зверек уничтожает вечерние примулы! Посмотрев вверх, миссис Рамзи увидела среди тонких ветвей первый проблеск звезды и хотела показать мужу, потому что это зрелище доставило ей огромное удовольствие, но вовремя опомнилась. Все равно не увидит, а если и увидит, скажет что-нибудь вроде «бедный, несчастный мирок», да еще вздохнет!

И тогда он сказал: «Очень красивые», чтобы сделать ей приятно, притворившись, что восхищается цветами. И все же она прекрасно поняла: он ничуть ими не восхищается и даже не видит. Просто хочет сделать ей приятно… Неужели Лили Бриско прогуливается с Уильямом Бэнксом? Миссис Рамзи прищурила близорукие глаза, разглядывая удаляющуюся парочку. Так и есть. Не означает ли это, что они поженятся? Замечательная идея! Они должны пожениться!

13

Он ездил в Амстердам, рассказывал мистер Бэнкс Лили Бриско, прогуливаясь по лужайке. И в Мадрид. К сожалению, была Страстная пятница и музей Прадо не работал. Мисс Бриско не довелось посетить Рим? Стоило бы — прекрасный опыт для нее — Сикстинская капелла, Микеланджело, да и в Падую тоже можно — взглянуть на фрески Джотто. Жена мистера Бэнкса часто хворала, поэтому осмотром достопримечательностей они занимались мало.

Лили бывала в Брюсселе и в Париже, но недолго — навещала заболевшую тетю. И в Дрездене тоже, там много картин, которых она не видела; впрочем, полагала Лили, смотреть на картины не стоит — только расстраиваться из-за несовершенства своих работ. Мистер Бэнкс считал, что так можно зайти слишком далеко. Не всем же быть Тицианами и Дарвинами, заметил он, и в то же время разве Тициан и Дарвин не потерялись бы на общем фоне, не обладай мы скромными способностями? Лили захотелось сделать ему комплимент: ваши способности вовсе не скромные, мистер Бэнкс, могла бы она сказать. Но

он в комплиментах не нуждался (в отличие от большинства мужчин), поэтому она устыдилась своего порыва и промолчала, он же добавил, что к картинам это, пожалуй, вряд ли относится. В любом случае, призналась Лили, отбросив лицемерие, она продолжит занятия живописью, потому что ей интересно. Да, согласился мистер Бэнкс, он в этом уверен, и, дойдя до края лужайки, спросил, не трудно ли ей находить сюжеты для картин в Лондоне, и тут они повернули обратно и увидели чету Рамзи. Вот что такое брак, подумала Лили, мужчина и женщина смотрят, как девочка бросает мяч. Вот что миссис Рамзи пыталась сказать прошлой ночью, подумала она. Миссис Рамзи в зеленой шали и Лили стояли рядом, наблюдая, как Прю с Джаспером играют в мяч. И внезапно, без всякой причины, как бывает, когда люди выходят из подземки или звонят в дверь, они обретают символическое значение, олицетворяют собой некий тип, так и они, стоя в сумерках на краю обрыва, стали символами брака, мужем и женой. Мгновение спустя символический ореол, облекавший их фигуры, развеялся и они снова стали собой, мистером и миссис Рамзи, которые наблюдают за играющими в мяч детьми. И все же на миг, хотя миссис Рамзи

встретила их с привычной улыбкой (небось думает, что мы поженимся, поняла Лили) и сказала: «Сегодня я победила», имея в виду, что мистер Бэнкс в кои-то веки согласился поужинать с ними и не убежал к себе домой, где слуга готовит овощи правильно; и все же на миг у Лили возникло ощущение, что все разлетается на части, ощущение простора и беззаботности — мяч взлетел высоко, они проследили за ним взглядами и потеряли, отвлекшись на одинокую звезду среди ветвей. В гаснущем свете дня силуэты казались резко очерченными, призрачными и разделенными огромными расстояниями. Метнувшись через бескрайнюю лужайку (пространство стало иллюзорно бесплотным), Прю вылетела прямо на них, мастерски поймала мяч левой рукой, и мать у нее спросила: «Еще не вернулись?» Чары развеялись. Мистер Рамзи громко расхохотался, вспомнив про Юма, увязшего в болоте, и как старуха его вытащила, поставив условие, что он должен прочесть молитву; усмехаясь, он удалился к себе в кабинет. Миссис Рамзи, возвращая Прю к отработке подачи, от которой та удрала, спросила:

— Нэнси с ними?

14

(Конечно, Нэнси с ними, ведь Минта Дойл, как назло, протянула ей руку, едва Нэнси собралась удрать после ланча к себе на чердак, спасаясь от ужасов семейного быта. Она поняла, что не отвертится. Идти не хотелось — зачем втягивать ее в эту историю? Всю дорогу до скал Минта держала ее за руку, потом отпустила, снова взяла. И чего ей надо? — гадала про себя Нэнси. Понятно, людям всегда чего-то надо, и стоило Минте взять ее за руку, как Нэнси поневоле увидела весь мир у своих ног, словно проступающий в дымке Константинополь, и как бы ни устали глаза, нужно непременно спросить: «Это Святая София?», «Это Золотой Рог?» И Нэнси спросила, когда Минта взяла ее за руку. «Чего же ей надо? Неужели этого?» Кое-где дымку пронзал (когда Нэнси смотрела вниз на жизнь, расстилавшуюся у ног) то шпиль, то купол — безымянные достопримечательности. Но стоило Минте выпустить ее руку и помчаться вниз по склону горы, все это — купол, шпиль, что бы там ни проглядывало, — кануло в дымке. Минта, заметил Эндрю, довольно вынослива. Одевается гораздо практичнее, чем большинство

женщин — в очень короткие юбки и черные бриджи до колен. Смело прыгает в ручей и идет вброд. Ему нравилась ее порывистость, хотя он и понимал, что так не годится — когда-нибудь непременно свернет себе шею самым нелепым образом. Минта не боялась ничего, кроме быков. При виде быка на лугу она вскидывала руки и с визгом удирала, что, конечно, приводило животное в ярость. К ее чести, она ничуть не отрицала своего страха. Она и сама признавала, что ужасно боится быков. Вероятно, в младенчестве ее слишком сильно трясли, укачивая в коляске. Она не стеснялась ни своих слов, ни поступков. Внезапно она спустилась на край обрыва и затянула песенку:

Будь прокляты ваши глаза,
будь прокляты ваши глаза.

Всем следовало к ней присоединиться и прокричать припев вместе:

Будь прокляты ваши глаза,
будь прокляты ваши глаза,

но позволить приливу накрыть лучшие охотничьи угодья до того, как они спустятся на пляж, было бы фатальной ошибкой.

— Конечно, — согласился Пол, бросившись вниз, и весь спуск цитировал путеводитель про то, как «эти острова по праву славятся своими парковыми пейзажами, а также изобилием и разнообразием морских диковинок». Нет уж, так не пойдет, к чему эти вопли и проклятия, думал Эндрю, осторожно спускаясь по склону, похлопыванья по спине, обращение «старина» и все в таком духе, так не пойдет. Брать женщин на прогулку — последнее дело! На пляже они сразу разделились; он ушел на Папский нос, снял ботинки и сунул носки внутрь, решив, что эти двое сами о себе позаботятся; Нэнси побрела вброд к своим излюбленным скалам и принялась осматривать заводи, решив, что эти двое сами о себе позаботятся. Она присела на корточки и потрогала гладкие как резина анемоны, липшие к скале комочками желе. Глубоко задумавшись, она превратила заводь в море, миног сделала акулами и китами, затянула крошечный мирок тучами, заслонив рукой солнце, чем принесла мрак и опустошение, словно сам Господь, миллионам невежественных и невинных существ, потом резко убрала руку и затопила все ярким светом. По исчерченному волнами песку прошествовало, высоко вскидывая лапы, причудливое

морское чудовище в броне и латных перчатках (Нэнси расширила границы заводи) и затерялось среди трещин в скале. И тогда, скользнув взглядом по поверхности заводи, уставившись на дрожащую границу моря и неба, на контуры стволов деревьев, дрожащих в дыму пароходов на горизонте, под действием неукротимой стихии, то грозно наступающей, то неминуемо отступающей, она впала в состояние гипнотического транса; сочетание необозримого простора и крохотности, процветающей внутри ее (заводь вновь уменьшилась), буквально обездвижили Нэнси, она поняла, что уже не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой из-за яркости ощущений, которые навеки обратили ее тело, ее жизнь и жизни всех людей на свете в ничто. Так она и сидела, скрючившись над заводью, слушала шум волн и грезила наяву.

Эндрю закричал, что вода прибывает, и она бросилась на берег, разбрызгивая мелкие волны, промчалась по пляжу, влекомая нахлынувшей радостью бега, порывисто обогнула скалу, а там — ах ты, Господи! — Пол с Минтой в объятиях друг друга, наверное, целовались. Нэнси возмутилась до глубины души. Они с Эндрю надели чулки и ботинки в гробовом молчании. Более того, оба

вели себя довольно резко. Могла бы и позвать, когда увидела лангуста или что там ей попалось, проворчал Эндрю. Впрочем, оба понимали, что ничуть не виноваты. Никому не хотелось, чтобы произошло подобное безобразие. И все же Эндрю раздражало, что Нэнси станет женщиной, а ее — что Эндрю станет мужчиной, и они зашнуровали ботинки очень аккуратно, слишком туго завязав шнурки.

Едва они взобрались на вершину утеса, как Минта вскричала, что потеряла бабушкину брошь — бабушкину брошь, свое единственное украшение — плакучую иву (они наверняка ее помнят!), всю в жемчужинках. Наверняка помните, говорила она, заливаясь слезами, моя бабушка этой брошкой чепчик закалывала до конца своих дней. Вот ее-то она и потеряла! Только не брошка! Нужно вернуться и поискать. И все пошли обратно. Они обшарили все, посмотрели везде, склонившись к земле и обмениваясь отрывистыми репликами. Пол Рэйли рыскал вокруг скалы, где они сидели, как сумасшедший. Пустая суета, подумал Эндрю, когда Пол велел ему: «хорошенько ищи отсюда и вон дотуда». Вода прибывает слишком быстро. Море закроет место, где они сидели, через минуту. Ни единого

шанса отыскать потерю. «Нас отрежет от берега!» — завопила Минта, внезапно испугавшись. Нашла чего пугаться! То же самое, что и с быками, — никакого контроля над своими эмоциями, подумал Эндрю. Женщины к этому просто не способны. Несчастному Полу пришлось ее утешать. Мужчины (Эндрю с Полом сразу возмужали, стали на себя не похожи) коротко посовещались и решили, что воткнут трость Рэйли, где сидели Пол с Минтой, а потом вернутся во время отлива. Они сделали все, что могли. Если брошка там, то утром непременно найдется, заверили они девушку, но Минта продолжала всхлипывать всю дорогу до вершины утеса. Только не бабушкина брошка, причитала она, и Нэнси казалось, что ее расстроила не столько потеря, сколько что-то другое. Брошка тут ни при чем. Прямо хоть садись и плачь хором, думала девочка, хотя и не знала, из-за чего.

Пол с Минтой ушли вперед, он утешал ее и заверял, что умеет отыскивать потерянные вещи. К примеру, в детстве нашел золотые часы. Завтра встанет с рассветом и обязательно найдет. Конечно, идти на пляж в утренних сумерках и в полном одиночестве довольно опасно. И все же он бросился уверять девушку, что наверняка

отыщет брошку, а она и слышать не желала, что он встанет на рассвете; ведь брошка утрачена навеки, у нее было предчувствие, когда надевала ее сегодня. И Пол решил, что потихоньку выскользнет из дома на рассвете, когда все спят, и, если не отыщет старую брошку, отправится в Эдинбург и купит другую, точь-в-точь такую же, только еще красивее. Докажет, на что способен. Поднявшись на гору и увидев внизу огни города, возникающие в темноте один за другим, как события, происходящие в жизни, — женитьба, дети, свой дом; и потом, выйдя на широкую дорогу, окруженную высокими кустами, Пол подумал, что они уединятся ото всех, пойдут по жизни рука об руку, и он всегда будет ее вести, а она прижиматься к нему (вот как сейчас).

Когда свернули на перекрестке, он вспомнил, какое ужасное испытание выпало сегодня на его долю, и захотел с кем-нибудь поделиться — конечно, с миссис Рамзи, ведь при мысли о том, что он сделал, у него захватывало дух. Безусловно, самый страшный момент в его жизни позади — он попросил Минту стать его женой! По возвращении он пойдет прямо к миссис Рамзи, поскольку ему казалось, что именно она заставила его решиться, вселила в него уверенность, что он

способен на все. Больше никто не принимает его всерьез. А она помогла поверить, что он волен поступать, как ему вздумается. Сегодня он весь день чувствовал ее взгляд, ощущал ее присутствие (хотя вслух она не сказала ничего), словно говорила: «Да, ты сможешь. Я в тебя верю. Я жду». Миссис Рамзи заставила его все это прочувствовать, и, как только они вернутся (Пол поискал взглядом огни дома над заливом), он тут же пойдет к ней и скажет: «Я решился, миссис Рамзи, — благодаря вам!». Свернув на дорожку, ведущую к дому, он увидел, как движутся огни в верхних окнах. Похоже, они изрядно припозднились. Уже садятся ужинать. Весь дом был освещен, и после темноты зарябило в глазах. Огни-огни-огни, зачарованно твердил Пол Рэйли, идя по дорожке, огни-огни-огни, повторял он, входя в дом с застывшим лицом и растерянно оглядываясь. Но Боже упаси, сказал он себе, коснувшись галстука, выставить себя дураком!

15

— Да, — по обыкновению, задумчиво проговорила Прю, отвечая на вопрос матери, — думаю, Нэнси с ними.

16

Значит, Нэнси с ними, заключила миссис Рамзи. Она отложила щетку, взялась за расческу и ответила: «Войдите» на стук в дверь (вошли Джаспер и Роуз), гадая, снижает ли присутствие Нэнси вероятность того, что случится непоправимое; почему-то ей казалось, что снижает, ведь массовая гибель такого масштаба весьма маловероятна. Не могут же все утонуть! И вновь она осталась наедине со своим старым противником — жизнью.

Джаспер и Роуз передали, что Милдред спрашивает, следует ли подождать с ужином.

— Нет, даже ради королевы Англии! — с чувством воскликнула миссис Рамзи. — Нет, даже ради императрицы Мексики! — добавила она со смехом, глядя на Джаспера, который унаследовал ее склонность к преувеличению.

Пока Джаспер передавал указания, Роуз разрешили выбрать, какие драгоценности матери надеть к ужину. Когда к столу садятся пятнадцать человек, нельзя заставлять их ждать вечно. Миссис Рамзи начинала сердиться, что они до такой степени не считаются с остальными, к тому же

позволили себе задержаться именно сегодня, когда Уильям Бэнкс наконец согласился к ним присоединиться и Милдред приготовила свой шедевр — *boeuf en daube* [3]. Тут все зависит от своевременной подачи. Говядину, лавровый лист и вино нужно тушить ровно столько, сколько положено. Блюдо ни в коем случае нельзя передерживать! И все же именно сегодня они ушли на прогулку, задержались допоздна, и теперь блюдо приходится вынимать из духовки, подогревать; *boeuf en daube* будет совершенно испорчена!

Джаспер предложил опаловое ожерелье, Роуз — золотую цепочку. Что больше идет к черному платью? И в самом деле — что? — рассеянно проговорила миссис Рамзи, оглядывая шею и плечи (но избегая своего лица) в зеркале. Пока дети рылись в украшениях, она посмотрела в окно и увидела нечто забавное — грачи выбирали подходящее дерево, чтобы устроиться на ночь. Едва усевшись, они взлетали вновь, потому что старый грач, отец семейства, Иосиф-старший, как прозвала его миссис Рамзи, был птицей тревожной с очень тяжелым характером и пользовался дурной славой, не зря у него в крыльях не хватало

---

[3] Примечания: 3

Говядина, тушенная в вине *(фр.)*. Она же говядина по-прованси.

половины перьев. Вылитый пожилой джентльмен-пропойца в цилиндре, который играет на трубе возле пивной.

— Смотрите! — воскликнула она со смехом. Птицы затеяли драку — Иосиф с Марией подрались! Все грачи переполошились, и черные крылья рассекали воздух, нарезая на изящные ломти в форме ятагана. Взмахи крыльев, бьющихся быстро-быстро, — ей никогда не удавалось облечь это дивное зрелище в словесную оболочку. Смотри, велела она Роуз, надеясь, что та разберется лучше, ведь довольно часто собственные дети могут подтолкнуть твое восприятие в нужную сторону.

Что же выбрать? Они открыли все коробочки с украшениями. Золотую цепочку из Италии или опаловое ожерелье, привезенное дядей Джеймсом из Индии, или лучше аметисты?

— Выбирайте, милые, выбирайте, — проговорила миссис Рамзи, надеясь, что они поторопятся.

Тем не менее она позволила им выбирать без спешки, особенно Роуз, рассматривать то одно, то другое украшение, прикладывать к платью, поскольку знала, что эта маленькая ежевечерняя церемония нравилась девочке больше всего. Почему-то она придавала выбору драгоценностей огромное значение. Какова же тайная причина,

гадала миссис Рамзи, стоя неподвижно, пока Роуз застегивала ожерелье, отыскивая ответ в глубинах своего прошлого — потаенное, совершенно невыразимое чувство, которое сама испытывала к матери в детстве. Навевает грусть, подумала миссис Рамзи, как и все чувства, питаемые к тебе другими людьми. Сколь мало могла она предложить взамен, ведь чувства Роуз совершенно несопоставимы с тем, что она из себя представляет. Роуз тоже вырастет и будет страдать, полагала она, от излишней глубины чувств, и объявила, что теперь готова, пора спускаться, и Джаспер, как джентльмен, должен подать ей руку, а Роуз, как леди, должна нести платок (мать протянула ей платок) и что там еще? Ах да, может быть прохладно, понадобится шаль. Выбери мне шаль, предложила миссис Рамзи, чтобы сделать приятно Роуз, которую ждет столько страданий. «Ну вот, — заметила она, остановившись у окна на лестничной площадке, — вот и они!» Иосиф уселся на верхушке другого дерева. «Как думаешь, — обратилась она к Джасперу, — подбитые крылья им не мешают?» Зачем стрелять в бедных Иосифа с Марией? Он замешкался на ступеньках и слегка усовестился, но не сильно, потому что мать не понимает, как весело стрелять по птицам,

ведь они совсем ничего не чувствуют, потому что мать живет далеко-далеко, в другой части света. Впрочем, истории про Марию с Иосифом ему нравились — они его забавляли. Откуда ей известно, как их зовут? Неужели она думает, что на одни и те же деревья каждую ночь садятся одни и те же птицы? Внезапно, как и все взрослые, мать перестала обращать на него внимание. Она прислушалась к невнятному шуму в холле.

— Вернулись! — воскликнула миссис Рамзи и мигом рассердилась на опоздавших больше, чем обрадовалась. Потом задумалась, случилось или нет? Скорее вниз, и они сами все расскажут — нет, рассказать не получится, слишком много посторонних. Значит, придется начинать ужин и ждать. Как королева, которая смотрит сверху на собравшихся в холле придворных, смотрит и спускается, молча принимая почести, выражения любви и поклоны (Пол даже не шевельнулся, глядя прямо перед собой, пока она проходила), миссис Рамзи спустилась по лестнице, прошла по холлу и слегка кивнула, принимая то, что они не могли выразить словами — дань уважения ее красоте.

И вдруг остановилась.

Запахло горелым. Неужели *boeuf en daube* пе-

редержали?! — испугалась она. Господи, только не это! И тут громкий удар гонга возвестил торжественно, властно, что все те, кто разбрелся по дому, по чердакам и спальням, по маленьким жердочкам, кто дочитывает, дописывает, приглаживает выбившийся локон или застегивает пуговку, должны все бросить — мелочи и безделушки на умывальниках и туалетных столиках, книжки и дорогие сердцу тайные дневники — и незамедлительно явиться в столовую к ужину.

17

Чего же я достигла в жизни? — думала миссис Рамзи, занимая место во главе стола и глядя на белые круги тарелок. «Уильям, садитесь со мной», — предложила она. «Лили, — устало проговорила она, — вон туда». В отличие от Пола Рэйли с Минтой, у нее есть лишь бесконечно длинный стол, тарелки и ножи. В дальнем конце сидел ее муж, сгорбленный и надувшийся. Что не так? Она не знала. Ей было все равно. Она не понимала, как могла испытывать к нему хоть какую-то привязанность. Разливая суп, она чувствовала, что все прошло, все кончено, все миновало, словно мимо несется вихрь — вон там! — и находиться можно либо внутри, либо снаружи, и она вне его. Все кончено, думала она, когда в гостиную входили один за другим и садились Чарльз Тэнсли («Вон туда, пожалуйста») и Август Кармайкл, и в то же время безучастно ждала, когда кто-нибудь ей ответит, что-нибудь произойдет. О таких вещах, думала она, разливая суп, вслух не говорят.

Изумленно подняв брови из-за несоответствия того, что думает, тому, что делает, миссис Рамзи продолжала разливать суп, все больше ощущая

себя вне вихря или даже в тени, которая упала неожиданно, погасила цвета, и открылся истинный облик вещей. Гостиная выглядела весьма обшарпанной. Никакой красоты. Смотреть на Чарльза Тэнсли она не рискнула. Кажется, ничего не склеивается. Все сидят порознь. И все усилия по склеиванию, слиянию и возникновению чего-то нового лежат на ней! И вновь она ощутила, причем без тени неприязни, бесплодность мужчин: если не сделает она, то и никто не сделает, и слегка встряхнулась, как встряхивают остановившиеся часы, и раздается старое, знакомое биение, часы начинают тикать — раз-два-три, раз-два-три. И так далее и тому подобное, повторила миссис Рамзи, прислушиваясь к слабому биению, заботливо укрывая его и ухаживая за ним, как за слабым пламенем. И тогда, заключила она, с молчаливым кивком склонившись к Уильяму Бэнксу — бедняга, ни жены, ни детей, ужинает в одиночестве в съемных комнатах! — из жалости к нему, уже достаточно окрепнув, чтобы вернуться к жизни, она вновь взялась за дело, как усталый моряк, который видит, что ветер наполняет парус, но едва ли хочет отчалить и думает: если корабль затонет, стихия меня закружит, закружит и упокоит на дне морском.

— Нашли свои письма? Я велела оставить их в холле, — сообщила она Уильяму Бэнксу.

Лили Бриско наблюдала, как миссис Рамзи уносит в странные ничейные земли, куда невозможно последовать за человеком, и все же его уход вызывает у тех, кто за ним наблюдает, такой холод, что они пытаются проводить его хотя бы взглядом, как провожают уходящий корабль, пока парус не исчезнет за горизонтом.

Она выглядит такой старой, такой измученной, подумала Лили, такой безучастной. А потом, когда хозяйка повернулась к Уильяму Бэнксу с улыбкой, словно корабль сменил курс и солнце вновь ударило в паруса, Лили вздохнула с облегчением и принялась насмешливо гадать: «Почему же она его жалеет?» Такое у нее создалось впечатление, стоило миссис Рамзи сказать, что письма лежат в холле. Бедняга Уильям Бэнкс, говорила она всем видом, будто ее собственная усталость отчасти вызвана состраданием к людям, и жизненные силы, решимость жить дальше пробудились только благодаря состраданию. А ведь это неправда, думала Лили, очередное заблуждение, проистекающее скорее из собственной потребности, нежели из потребностей других людей. В сострадании мистер Бэнкс не нуждается.

У него есть дело, напомнила себе Лили. Внезапно, словно найдя клад, она вспомнила: у нее тоже есть дело! Мгновенно перед внутренним взором возникла недописанная картина, и она поняла: да, дерево я подвину к центру, и тогда с пустым пространством удастся совладать. Так и сделаю! Она переставила солонку, закрыв цветок на скатерти, чтобы не забыть про дерево.

— Странно, до чего редко по почте приходит что-нибудь стоящее, и все же мы неизменно ждем писем, — заметил мистер Бэнкс.

Что за дурацкую чушь они несут, подумал Чарльз Тэнсли, кладя ложку ровно по центру вылизанной дочиста тарелки, словно и тут, подумала Лили (он сидел напротив нее спиной к окну), стремится выгадать максимум пользы. Вот и во всем-то ему свойственно столь же убогое постоянство, явная неприглядность. Тем не менее факт остается фактом: невозможно чувствовать неприязнь к тому, на кого смотришь. Ей нравились его глаза — синие, глубоко посаженные, пугающие.

— Много писем пишете, мистер Тэнсли? — поинтересовалась миссис Рамзи, жалея и его тоже, предположила Лили, потому что миссис Рамзи всегда жалела мужчин, словно им чего-то не

хватает, а женщин — никогда, словно у них что-то есть. Только матери, кратко ответил мистер Тэнсли, и не больше одного письма в месяц.

Лично он не собирался нести чушь, как они. Он не собирался унижаться перед этими глупыми женщинами. Он читал у себя в комнате и вот спустился, а здесь все такое глупое, несерьезное, посредственное. Зачем они наряжаются? Сам он пришел в повседневной одежде. «Редко по почте приходит что-нибудь стоящее» — вот и все, о чем они говорят. Мужчины вынуждены говорить подобные вещи. Да, пожалуй, так и есть, подумал он. Тут никогда не происходит ничего достойного внимания, и так из года в год. Только и делают, что говорят-говорят-говорят, едят-едят-едят. Во всем виноваты женщины! Цивилизация стала невыносимой из-за женских чар, из-за женской глупости.

— Никакого вам маяка завтра, миссис Рамзи, — объявил Тэнсли. Она ему нравилась, даже вызывала восхищение; но при мысли о том, какими глазами на нее смотрел человек в канаве, он ощутил необходимость самоутвердиться.

На самом деле, подумала Лили Бриско, оставим глаза, стоит только поглядеть на его нос, на руки! — никого неприятнее Чарльза Тэнсли

она в жизни не встречала. Какое ей дело до его слов? Женщины не способны писать, женщины не способны рисовать — какое это имеет значение, если исходит от него, ведь он и сам так не считает, хотя по каким-то своим соображениям продолжает об этом твердить. Почему же ее гнет, словно пшеницу на ветру, и так мучительно трудно распрямиться, оправиться после унижения? Надо попробовать еще раз. Веточка на скатерти — моя картина, я должна передвинуть дерево на середину, вот что важно, остальное — нет. Разве мне этого недостаточно, разве нельзя держать себя в руках и не спорить, а если так хочется отомстить, почему бы над ним не посмеяться?

— Ах, мистер Тэнсли, — протянула она, — возьмите меня с собой на маяк! Только об этом и мечтаю!

Он видел, что Лили говорит неправду. Ни на какой маяк ей не надо, просто хочет над ним посмеяться. Он был в старых фланелевых брюках, они же единственные. Ему стало очень плохо и одиноко. Почему-то она пытается его дразнить, наверное, презирает, как Прю Рамзи, как они все. Он не позволит женщинам выставлять себя дураком! Тэнсли демонстративно отвернулся, посмотрел в окно и резко выпалил, весьма грубо,

что завтра не выйдет — ее наверняка укачает и стошнит.

Досадно, что он позволил спровоцировать себя на подобную грубость в присутствии миссис Рамзи. Лучше бы сейчас работал наверху, среди книг. Только там он не чувствовал себя неловко. За всю жизнь он никому не задолжал ни пенни, с пятнадцати лет не брал у отца ни пенни, напротив, делился своими сбережениями с родными, оплачивал учебу сестры. И все же ему хотелось ответить мисс Бриско достойно, а не резко. Ему хотелось что-нибудь сказать миссис Рамзи, чтобы та поняла: он вовсе не такой зануда, каким его считают. Он повернулся к хозяйке, но та беседовала с Уильямом Бэнксом про людей, о которых он даже не слышал.

— Да, уносите, — велела она горничной, прервав разговор с Уильямом Бэнксом. — С тех пор как мы виделись в последний раз, прошло лет пятнадцать — нет, двадцать, — сообщила она, вновь повернувшись к нему, словно не могла упустить ни секунды беседы, всецело поглощенная тем, что они обсуждали. Значит, он получил от нее весточку прямо сегодня! Неужели Кэрри еще живет в Марлоу и все у нее по-прежнему? Ах, она помнит все как вчера — они отправились

на реку, стоял жуткий холод. Если уж Мэннинги что решили, от своего не отступят. Никогда ей не забыть, как на берегу Герберт убил осу чайной ложкой! Так там все и идет, полагала миссис Рамзи, скользя точно призрак между столами и стульями по гостиной на берегах Темзы, где жутко замерзла двадцать лет назад, и теперь ходит среди них призраком, теперь она уже другая, а там ровным счетом ничего не изменилось — тот самый день, застывший на двадцать лет, такой же красивый и тихий — разве не удивительно?.. Кэрри сама ему написала? — уточнила она.

— Сама. Пишет, что строят себе новую бильярдную, — сообщил он.

Нет, нет! Не может быть! Подумать только, новую бильярдную! Мистер Бэнкс не видел в этом ничего необычного. Теперь они весьма богаты. Передать Кэрри привет?

Миссис Рамзи едва заметно вздрогнула и вежливо отказалась, сообразив, что совсем не знакома с той Кэрри Мэннинг, которая строит себе новую бильярдную. До чего странно, повторила она, позабавив мистера Бэнкса, что они по-прежнему там. Просто удивительно, как они умудрились прожить столько лет, пока она и думать про них забыла. Какими насыщенными выдались для

нее минувшие годы! Впрочем, возможно, Кэрри Мэннинг тоже о ней не вспоминала. Мысль была странная и неприятная.

— Люди быстро отдаляются друг от друга, — заметил мистер Бэнкс, впрочем, не без удовольствия, ведь в конце концов ему довелось узнать и Мэннингов, и Рамзи. Я-то ни от кого не отдалился, подумал он, откладывая ложку и аккуратно утирая чисто выбритые губы. Вероятно, он довольно оригинален, раз не позволяет себе погрязнуть в рутине. У него друзья во всех кругах… Здесь миссис Рамзи пришлось отвлечься, чтобы дать горничной указания насчет горячего. Вот почему он предпочитает ужинать один! Подобные заминки изрядно раздражают. Что ж, подумал Уильям Бэнкс, сохраняя чрезвычайно учтивый вид и расправляя на скатерти пальцы левой руки, словно механик, изучающий на досуге начищенный, готовый к использованию инструмент, таковы жертвы, коих требуют друзья. Отказ ее расстроил, но оно того не стоило. Ужиная в одиночестве, он давно бы управился и мог вернуться к работе. Эх, подумал он, разглядывая руку, столько времени впустую! Дети продолжали собираться к столу. «Сбегайте кто-нибудь в комнату Роджера», — попросила миссис Рамзи. Какие это пустяки, думал

он, какая скука по сравнению с работой! Сидит тут, барабаня пальцами по столу, хотя мог бы… Он мельком обозрел свою книгу в перспективе. И в самом деле, он теряет время зря! Впрочем, подумал мистер Бэнкс, она моя старинная подруга, даже чуть больше, чем подруга. Впрочем, в данный момент ее присутствие не значило ровным счетом ничего — его не трогала ни ее красота, ни то, как она сидела с сынишкой у окна. Ему было неловко, он казался себе предателем. Скорее бы его оставили в покое и дали заняться книгой! Честно говоря, семейная жизнь мистера Бэнкса не привлекала. В таком настроении задаешься вопросом: зачем жить на свете? Зачем, спрашивал он себя, прилагать для продолжения рода столько усилий? Неужели это обязательно? Неужели мы настолько привлекательны как вид? Не особо, думал он, глядя на неопрятных мальчиков. Кэм, его любимица, наверное, в постели. Глупые, суетные вопросы, которыми не задаешься, пока занят делом. Неужели это и есть человеческая жизнь? Редко кому выпадает время задуматься, но ему повезло, потому что миссис Рамзи отвлекалась на приказы слугам; и еще, когда миссис Рамзи удивилась, что Кэрри Мэннинг все еще существует, он внезапно понял: дружба, даже самая

крепкая, весьма непрочна. Люди отдаляются друг от друга… Он снова принялся себя корить: сидит рядом и двух слов сказать не может!

— Прошу прощения, — извинилась миссис Рамзи, наконец повернувшись к нему. Он чувствовал себя задубелым и пустым, как промокшие насквозь ботинки, которые засохли и теперь не лезут на ноги. И все же их придется надеть — придется поддержать разговор. Стоит допустить малейшую оплошность, и она распознает предательство, сразу поймет, что ему плевать, и это будет весьма неприятно, подумал мистер Бэнкс и учтиво склонил голову.

— Представляю, сколь невыносимо для вас ужинать в таком бедламе, — непринужденно заметила она, переходя на светский тон, как поступала всегда, пребывая в расстроенных чувствах. Так председатель многоязычного сборища, желая достичь согласия, предлагает перейти на французский. Возможно, не все присутствующие владеют им в должной мере или в нем не хватает слов, способных выразить мысли говорящего, однако переход на французский вносит порядок, единообразие. Отвечая на том же языке, мистер Бэнкс проговорил: «Что вы, ничуть», и Тэнсли, который языком светских манер не владел даже

на уровне односложных слов, вмиг заподозрил неискренность. Что за чушь они несут, эти Рамзи, подумал он и с радостью ухватился за очередной яркий эпизод, воображая, как зачитает очередную сценку приятелю-другому. Там, среди своих, где можно говорить что угодно, он язвительно распишет, как гостил у Рамзи и какую чушь они несли. Разок наведаться к ним стоит, скажет он, но больше — ни-ни! С этими женщинами такая скука. Несомненно, Рамзи себя погубил, женившись на красивой женщине и заведя восьмерых детей. Так он и выразится впоследствии, пока же, изнывая рядом с пустым стулом, ничего не мог облечь в слова — все распадалось на осколки и ошметки. Он чувствовал себя крайне неловко, буквально физически жаждал самоутвердиться. Тэнсли ерзал, бросая взгляды то на одного, то на другого собеседника, пытался влезть в разговор, открывал и снова закрывал рот. Речь зашла о рыбном промысле. Почему не спросили его мнения? Да что они вообще понимают в рыболовстве?

Лили Бриско все это знала. Сидя напротив, она видела насквозь, словно на рентгеновском снимке, ребра и берцовые кости молодого человека, жаждущего самоутвердиться, темневшие в дымке плоти — той тонкой дымке, которую услов-

ности налагали на жгучее желание вклиниться в беседу. Почему, думала она, щуря свои китайские глазки и вспоминая, как он насмехался над женщинами («не способны ни писать, ни рисовать»), почему я должна облегчать его муки?

Она знала, что существует негласный кодекс поведения, в седьмой статье которого, возможно, написано: при подобных обстоятельствах долг женщины — бросить все дела и прийти на помощь сидящему напротив молодому человеку, дабы он мог себя проявить и избавить берцовые кости, ребра от тщеславия, от настоятельного желания самоутвердиться; а долг мужчин, размышляла она с подобающей старой деве тягой к справедливости, помогать женщинам, скажем, если загорится подземка. Тогда, подумала она, я вправе ожидать, что мистер Тэнсли поможет мне выбраться. Но что, если ни один из нас не сделает ни того, ни другого? Поэтому она просто сидела и улыбалась.

— Лили, вы ведь не собираетесь на маяк? — спросила миссис Рамзи. — Вспомните беднягу мистера Лэнгли, который объездил весь мир, но ни разу не страдал так, как во время поездки на маяк с моим мужем. А вы хорошо переносите качку, мистер Тэнсли? — поинтересовалась она.

Мистер Тэнсли поднял молоток, замахнулся, однако понял, что подобное орудие для бабочки явно не годится, и заметил лишь, что его в жизни не тошнило. В эту фразу он вложил, словно заряд пороха, и деда-рыбака, и отца-аптекаря, и свою полную финансовую самостоятельность, и свою гордость, ведь он — Чарльз Тэнсли, чего, похоже, не сознает никто из присутствующих, но очень скоро о нем услышат все. Он хмуро глядел перед собой. Ему почти жаль этих слабых, рафинированных людишек, которые в один прекрасный день взлетят на воздух, словно тюки с шерстью и бочки с яблоками, взорванные тем порохом, что находится в нем.

— Возьмете меня с собой, мистер Тэнсли? — спросила Лили быстро и ласково, как если бы миссис Рамзи сказала ей: «Милая, я тону в море огня. Пролей немного бальзама на сей мучительный час и скажи этому молодому человеку что-нибудь приятное, иначе жизнь пойдет прахом — я буквально слышу скрежет и рев. Мои нервы натянуты, как скрипичные струны, прикоснись — и порвутся»; когда миссис Рамзи все это проговорила (точнее, это читалось в ее глазах), Лили Бриско в сто пятидесятый раз пришлось отказаться от эксперимента (что произойдет,

если не быть милой с молодыми людьми) и стать милой.

Правильно оценив перемену в ее настроении — теперь она обратилась к нему по-дружески — он обуздал свой эгоизм и рассказал, как в детстве отец выбрасывал его из лодки, как выуживал багром — так он и выучился плавать. Его дядюшка смотрел за маяком на островке у побережья Шотландии, и однажды, когда Тэнсли гостил там, разбушевался шторм. Повисла пауза, и он объявил об этом во всеуслышание. Всем пришлось выслушать, как он побывал на маяке в шторм. Ну вот, подумала Лили Бриско, когда беседа приняла благоприятный оборот, и ощутила благодарность миссис Рамзи (теперь миссис Рамзи могла и сама вставить словечко), ну вот, подумала она, разве я не готова ради вас на все? И покривила душой.

Она прибегла к привычной уловке — стала милой. По-настоящему узнать друг друга им не дано. Таковы все человеческие связи, считала Лили, и хуже всех (исключая мистера Бэнкса) — отношения между мужчинами и женщинами. В них нет искренности. Потом она заметила солонку, которую поставила в качестве напоминания, вспомнила, что утром передвинет дерево ближе к центру картины, и при мысли о живописи так

приободрилась, что громко захохотала над фразой Тэнсли. Пусть болтает хоть всю ночь, если угодно.

— И долго смотрители находятся на маяке? — спросила Лили. Он ответил. Потрясающая осведомленность! И поскольку он благодарен, и поскольку она ему нравится, и поскольку он начал получать удовольствие от общения, подумала миссис Рамзи, пора наконец вернуться в страну грез, в то призрачное, чарующее место — в гостиную Мэннингов двадцатилетней давности, где можно бродить без лишней суеты, ведь тревожиться о будущем не нужно — его просто нет. Она знала, что случится с ними, с ней самой. Словно перечитываешь хорошую книгу, зная, чем все закончится, ведь все произошло двадцать лет назад и жизнь, которая здесь низвергается каскадами бог весть куда прямо с обеденного стола, там запечатана надежно и лежит, словно озеро, безмятежно раскинувшееся между берегами. Значит, они построили бильярдную — да неужели? Продолжит ли Уильям разговор про Мэннингов? Ей бы хотелось. Увы, по непонятной причине он свернул тему. Она попыталась его навести, но он промолчал. Не заставлять же! Миссис Рамзи ощутила разочарование.

— Дети ведут себя возмутительно, — вздохнула она. Мистер Бэнкс ответил, что пунктуальность — из тех черт характера, что люди обретают не сразу.

— И то не все, — сказала миссис Рамзи для поддержания разговора, думая о том, что Уильям начинает рассуждать как старая дева. Сознавая свое предательство, сознавая ее желание поговорить о чем-нибудь более душевном и все же будучи не в настроении для подобных бесед, он впал в уныние, ему надоело сидеть и ждать. Может, другие обсуждают что-нибудь интересное? Что там они говорят?

Что рыболовный сезон был неудачным, что жители уезжают. Они говорили о зарплатах и безработице. Молодой человек ругал правительство. Услышав фразу «один из самых постыдных законов, принятых нашим правительством», Уильям Бэнкс подумал о том, какое, должно быть, облегчение — ухватиться за что-нибудь в этом роде, если личная жизнь не задалась. Лили слушала, миссис Рамзи слушала — слушали все. Но Лили уже заскучала, чувствуя: чего-то недостает, и мистер Бэнкс тоже это почувствовал. Завернувшись в шаль, и миссис Рамзи почувствовала: чего-то недостает. Все они, подавшись вперед, думали:

«Господи, лишь бы никто не прочел моих мыслей!», потому что каждый полагал: «Другие-то по-настоящему переживают! Они возмущаются и негодуют на правительство из-за бедных рыбаков, в то время как я не чувствую вообще ничего». Пожалуй, подумал мистер Бэнкс, взглянув на Тэнсли, он-то нам и нужен. Мы всегда ждем подходящего человека. Шансы велики. Лидер может явиться в любой момент — настоящий гений, хоть в политике, хоть в чем угодно. Скорее всего, нам, замшелым ретроградам, он не придется по душе, думал мистер Бэнкс, изо всех сил стараясь проявить снисходительность, — буквально физически ощутив, как дрожат натянутые нервы, он понял, что завидует отчасти самому Тэнсли, отчасти его работе, его точке зрения, его науке и, следовательно, не вполне беспристрастен и справедлив, ведь Тэнсли, казалось, говорил: «Вы растратили свои жизни попусту. Все вы неправы. Бедные старикашки, вы безнадежно отстали…». Молодой человек держался довольно самоуверенно, и манеры у него оставляли желать лучшего. Но мистер Бэнкс не мог не отметить в нем мужества и блестящих способностей, да и с фактами тот управлялся превосходно. Вероятно, думал мистер Бэнкс, пока Тэнсли ругал правительство,

в его словах есть доля истины.

— Скажите мне… — проговорил он. И они заспорили о политике, а Лили уставилась на листок на скатерти, и миссис Рамзи, предоставив мужчин самим себе, удивлялась, почему ей так наскучил этот разговор, и хотела, глядя на мужа на другом конце стола, чтобы он сказал свое слово. Одно слово изменит все. Он проникал в самую суть вещей. Его заботили рыбаки и их заработная плата. Он не мог уснуть, думая о них. Если бы муж заговорил, это изменило бы все — тогда никто не догадался бы, насколько ей все равно, ведь ему не все равно. Миссис Рамзи захотелось услышать его мнение, потому что она им восхищалась, и у нее возникло ощущение, что кто-то похвалил и ее мужа, и их брак, и она просияла, не осознавая, что похвалила себя сама. Она подняла взгляд, желая прочесть все это у него на лице — наверняка сейчас он смотрится великолепно… Ничего подобного! Он скривился, наморщил лоб, насупил брови и пылал от ярости. Да что с ним такое? — удивилась миссис Рамзи. Что могло произойти? Разве только бедняга Август попросил еще супа — вот и все! Немыслимо, отвратительно (говорил он ей взглядом через стол), что Август снова примется за суп! Мистер Рамзи ненавидел

людей, которые едят, когда он уже закончил. Злость металась в его глазах словно стая гончих, лоб того и гляди взорвется, и вдруг — слава тебе, Господи! — взял себя в руки, ударил по тормозам, и с него будто посыпались искры, но не слова. Он сидел, надувшись, и молчал — пусть видит! Пусть оценит его усилия! Почему, собственно, бедняге Августу не попросить добавки? Он всего лишь коснулся руки Эллен и сказал:

— Эллен, еще тарелочку, пожалуйста, — и мистера Рамзи перекосило.

Почему бы и нет? — требовательно спросила миссис Рамзи. Разумеется, Август может взять добавки, если пожелает. Терпеть не могу, когда люди предаются обжорству, скривился мистер Рамзи. Он терпеть не мог все, что тянется часами, как этот ужин. Но сдержался, подчеркнул мистер Рамзи, каким бы ни было зрелище отвратительным. Зачем же демонстрировать свои чувства столь явно, упрекнула миссис Рамзи (они смотрели друг на друга через длинный стол, обмениваясь вопросами и ответами, прекрасно зная, что чувствует другой). Все заметили, думала миссис Рамзи. Роуз уставилась на отца, Роджер уставился на отца — вот-вот скорчатся от смеха, знала она, и быстро велела (самое время):

— Зажгите свечи, — и они мигом вскочили, бросились к буфету и стали искать свечи.

Почему он никогда не скрывает своих чувств? — удивлялась миссис Рамзи и гадала, заметил ли Август Кармайкл. Возможно, да, возможно, нет. Она не могла не уважать того спокойствия, с которым он сидел, прихлебывая суп. Если ему хотелось супа, он просил супа. Смеются над ним или злятся на него, он оставался все тем же. Она ему не нравится, знала миссис Рамзи, но отчасти за это и уважала и, глядя, как старик, такой массивный и спокойный в гаснущем свете, монументальный и задумчивый, хлебает суп, гадала, что он чувствует, почему всегда доволен и держится с достоинством, и еще думала, что он предан Эндрю, часто зовет его к себе, чтобы «показывать всякие штуки». И лежит целыми днями на лужайке, вероятно, сочиняя стихи, — вылитый кот, наблюдающий за птичками, и хлопает в ладоши, стоит ему отыскать нужное слово, и ее муж говорит: «Бедняга Август — настоящий поэт», что из его уст — высокая похвала.

Дети поставили восемь свечей, и пламя взвилось вверх, выхватило из сумерек длинный стол и блюдо с желтыми и лиловыми фруктами посередине. Как это у Роуз вышло, удивлялась

миссис Рамзи, ведь композиция из винограда и груш — шипастая, очерченная розовым раковина из бананов — навевала мысли о трофеях со дна моря, о пиршестве Нептуна, о грозди над плечом Бахуса, обвитого виноградной лозой (как на картине), среди леопардовых шкур и факелов, пылающих алым и золотым… Выхваченная из тьмы, она казалась поистине необъятной, словно целый мир, в котором можно ходить с посохом по горам, спускаться в долины; к своему удовольствию (ведь между ними мигом вспыхнула симпатия, миссис Рамзи поняла, что Август тоже наслаждается видом фруктов — сорвал кисточку там, цветок здесь и после трапезы вернулся в свой улей. Он воспринимал все иначе, чем она, но то, что они смотрели вместе, их объединило.

Теперь горели все свечи, и лица по обе стороны стола приблизились, стали одной компанией, чего не могло быть в сумерках, и ночь изгнали за стекла, которые вовсе не давали точного представления о внешнем мире, покрывали его причудливой рябью, из-за чего казалось, что здесь, в гостиной, — порядок и суша, там, снаружи, — лишь отражение, в котором все колышется и исчезает, как в воде.

Со всеми произошла внезапная перемена, слов-

но они собрались на званый ужин посреди островка и заняты общей борьбой с изменчивостью снаружи. Миссис Рамзи, которая волновалась в ожидании Пола с Минтой и никак не могла успокоиться, почувствовала, что тревога наконец сменилась предвкушением. Сейчас они точно придут, и Лили Бриско, пытавшаяся понять причину внезапного оживления, сравнивала его с тем моментом на теннисной лужайке, когда пространство стало иллюзорно бесплотным, а расстояние между ними — огромным, и теперь тот же эффект получился благодаря множеству свечей в скудно обставленной комнате, незанавешенным окнам и ярким отблескам огня на лицах, похожих на маски. С них свалился незримый груз, чувствовала она. Сейчас точно придут, думала миссис Рамзи, глядя на дверь, и в тот же миг вместе вошли Минта Дойл, Пол Рэйли и горничная с огромным блюдом. Мы ужасно опоздали, кошмарно опоздали, сказала Минта, когда они разошлись по разным концам стола.

— Я потеряла брошку — бабушкину брошку, — пролепетала Минта с сожалением и тоской в больших карих глазах, садясь рядом с мистером Рамзи и глядя то вверх, то вниз; он тут же возомнил себя галантным кавалером и принялся над

ней подтрунивать.

Как можно быть такой дурочкой, спросил он, и лазать по скалам в драгоценностях?

Поначалу мистер Рамзи ее пугал — он был ужасно умным! — и в первый вечер, когда она сидела с ним рядом, он рассуждал про Джордж Элиот, и Минта перепугалась не на шутку, потому что оставила третью часть романа «Мидлмарч» в поезде и не узнала, чем все закончилось; зато потом прекрасно справилась — стала изображать из себя еще большую невежу, чем была на самом деле, потому что ему нравилось называть ее дурочкой. И сегодня, когда он открыто над ней потешался, она уже не боялась. К тому же Минта поняла, едва войдя в комнату, что произошло чудо: она вновь окутана золотистой дымкой. Иногда дымка появлялась, иногда нет. Она не знала, почему это происходит, не знала, есть на ней дымка или нет, пока не входила в комнату и не ловила на себе пристальный мужской взгляд. Да, сегодня получилось — эффект сокрушительный, судя по тому, что мистер Рамзи назвал ее дурочкой. Она сидела с ним рядом и улыбалась.

Значит, случилось, подумала миссис Рамзи, они обручены. И ощутила укол ревности, чего никак не ожидала. Ведь ее муж тоже почувство-

вал — Минта буквально светится; ему нравились такие девушки — золотисто-рыжие, порывистые, немного дикие и безрассудные, не прилизанные, не плюгавенькие, как он обозвал бедняжку Лили Бриско. Было в Минте нечто, чего недоставало самой миссис Рамзи — то ли блеск, то ли яркость, которые его влекли, забавляли и заставляли выбирать в любимицы именно таких девушек. И те подстригали ему волосы, плели цепочки для часов или отрывали от работы, окликая (миссис Рамзи сама слышала): «Идемте, мистер Рамзи! Теперь мы им точно покажем!», и он выходил поиграть в теннис.

На самом деле она не ревновала, только время от времени, когда заставляла себя взглянуть в зеркало, слегка досадовала, что постарела, пожалуй, по собственной вине. (Счет за починку теплицы и все остальное.) Она была им признательна, что они над ним подшучивают. «Сколько трубок вы сегодня выкурили, мистер Рамзи?» и тому подобное, и он уже казался молодым, привлекательным мужчиной, ничуть не обремененным, не отягощенным ни величием трудов своих и мировой скорбью, ни славой или неудачами — именно таким, как в начале их знакомства, слегка угрюмым, но галантным, когда помог ей

выбраться из лодки, вспоминала она, чрезвычайно приятным, вот как сейчас (он удивительно помолодел, поддразнивая Минту). Что же касается ее самой («Поставьте сюда», — велела она, помогая швейцарской девушке аккуратно опустить на стол большой коричневый горшок с *boeuf en daube*), то ей нравились балбесы. Пол должен сесть с ней рядом — она приберегла для него место. В самом деле, порой миссис Рамзи думала, что ей симпатичнее балбесы, которых не волнуют никакие диссертации. Сколько всего упускают умники! Честно говоря, усыхают они изрядно. Пол просто очарователен, подумала она, когда юноша уселся подле нее. Приятные манеры, четко очерченный нос, ярко-синие глаза. А какой предупредительный! Не расскажет ли он — раз уж беседа возобновилась, — что же все-таки произошло?

— Мы вернулись поискать брошь Минты, — пояснил он, присаживаясь рядом. «Мы» — и уже все ясно. Судя по усилию и неуверенности в голосе, к новому для него слову Пол еще не привык. «Мы сделали то, мы сделали се». Они будут говорить так всю жизнь, подумала миссис Рамзи, вдыхая восхитительный аромат маслин и сочного мяса, когда Марта эффектным жестом подняла крышку

с огромного коричневого горшка. Кухарка потратила на приготовление блюда целых три дня. И нужно хорошенько постараться, думала миссис Рамзи, погружая ложку в мягкую массу, чтобы выбрать для Уильяма Бэнкса самый нежный кусочек. Она смотрела на содержимое горшка с блестящими стенками, на пикантное ассорти из черного и желтого мяса, тушенного с лавровыми листьями в вине, и думала: «Вот и отпразднуем событие»; и ее охватило странное настроение — взбалмошное и в то же время умилительное, поскольку миссис Рамзи испытывала двойственное чувство: с одной стороны, любовь мужчины к женщине — это очень серьезно, внушительно и впечатляюще, ведь в ее груди заложены семена смерти; с другой — разве можно серьезно взирать на сияющих возлюбленных в плену иллюзии, так и тянет водить вокруг них хороводы и увешивать их гирляндами цветов.

— Настоящий фурор, — одобрил мистер Бэнкс, откладывая нож. Он ел вдумчиво. Блюдо сочное, нежное. Приготовлено превосходно. Как ей удалось сотворить такое посреди захолустья? — поинтересовался он. Удивительная женщина! И вся его любовь, все обожание вернулись, поняла миссис Рамзи.

— Французский рецепт моей бабушки, — не скрывая удовольствия, пояснила она. Разумеется, блюдо французское. Так называемая английская кухня — просто кощунство (оба согласились). Капусту кладут в воду, мясо жарят до тех пор, пока не станет жестким, как подошва. Восхитительную кожицу с овощей срезают. «А ведь в ней-то, — заметил мистер Бэнкс, — заключено самое полезное». И сколько отходов, подхватила миссис Рамзи. Тем, что английская кухарка выбрасывает, можно накормить целую французскую семью. Подстегиваемая ощущением, что ей удалось вновь обрести привязанность Уильяма, что все вернулось на круги своя, что тревожное ожидание окончено и теперь она снова вправе торжествовать и насмешничать, миссис Рамзи принялась хохотать и оживленно жестикулировать, пока Лили не подумала: как по-детски нелепо она себя ведет, сидя во всем блеске своей красоты и рассуждая об овощной кожуре. Иногда эта женщина ее пугает. Сопротивляться ей невозможно. В конце концов она своего добьется, думала Лили. Уже добилась — Пол с Минтой наверняка помолвлены, мистер Бэнкс остался на ужин. Всех околдовала, лишь загадав желание, — так просто, так непосредственно. Лили

соотнесла богатство ее натуры с собственной нищетой духа и предположила, что отчасти дело в этой вере (лицо миссис Рамзи просто светится — даже не будучи юной, выглядит она потрясающе), в странной, пугающей силе, которая заставляет Пола Рэйли дрожать и молча сидеть рядом, погрузившись в свои мысли. Рассуждая об овощной кожуре, миссис Рамзи, чувствовала Лили, превозносит эту силу, боготворит — протягивает к ней руки, чтобы согреться, оберегает и все же, вызвав ее к жизни, насмехается над своими жертвами, ведя их к алтарю. Теперь и на Лили нахлынули те же чувства, те же любовные флюиды. Сколь невзрачно она смотрится на фоне Пола! Он — горячий и пылкий, она же — холодная и язвительная, ему предстоит увлекательное приключение, ей суждено остаться пришвартованной к берегу, он беззаботно уносится вдаль, она стоит одинокая и покинутая… Готовая разделить с ним поражение, если таковое случится, Лили робко спросила:

— Когда Минта потеряла брошку?

На его губах заиграла довольная улыбка, затуманенная воспоминанием, подкрашенная мечтами. Он покачал головой.

— На пляже, — ответил Пол. — Завтра встану

пораньше, — добавил он потише, желая сохранить это в тайне от Минты, и повернулся туда, где та сидела рядом с мистером Рамзи и смеялась.

Лили хотелось бурно возражать и бесстыдно напрашиваться в помощники, она представила, как на рассвете отыщет брошку среди камней и тем самым примкнет к морякам и искателям приключений. И что же он ответил на ее непривычно эмоциональное предложение? Услышав «Позвольте пойти с вами», он лишь рассмеялся. То ли да, то ли нет — неясно. Хуже того, он издал странный смешок, словно давая понять: хоть со скал прыгайте, мне все равно. Щеку Лили опалило жаром любви, ее ужасом, ее жестокостью, ее неразборчивостью. Обожженная Лили посмотрела на Минту, любезничавшую с мистером Рамзи на другом конце стола, поморщилась от беззащитности перед ее клыками и возрадовалась. Во всяком случае, сказала она себе, заметив солонку на скатерти, ей не нужно выходить замуж, хвала небесам, не нужно подвергаться унижению. Она избавлена от необходимости распыляться. Она передвинет дерево на середину полотна.

Все очень сложно, потому что происходящее, особенно пребывание у Рамзи, неизбежно заставляло Лили испытывать сразу две сильных

эмоции: ты чувствуешь одно, я — другое, и в сознании они всегда сталкиваются, вот как сейчас. Какая красивая, какая волнительная эта ваша любовь — даже я трепещу и предлагаю то, что мне совершенно несвойственно, — поискать брошку на берегу; вместе с тем любовь — самая глупая, самая варварская из страстей человеческих, и превращает приятного молодого человека с точеным профилем (Пол словно сошел с камеи) в чванливого и наглого забияку с монтировкой посреди Майл-Энд-роуд. И все же, напомнила себе Лили, с начала времен любви поют оды, возлагают венки и розы, и девять из десяти мужчин ответят, что только о ней и мечтают, хотя женщины, судя по ее собственному опыту, постоянно думают: мы мечтали вовсе не об этом, нет ничего более тягомотного, незрелого и бесчеловечного; но она же прекрасна и необходима. Ну и как быть, как быть? — спрашивала она, ожидая продолжения спора, словно сделала все, что в ее силах, и теперь ждет, что другие подхватят. Лили прислушалась к разговору, надеясь, что они прольют свет на вопрос любви.

— А еще напиток, — заметил мистер Бэнкс, — который англичане называют кофе.

— Ах да, кофе! — воскликнула миссис Рамзи. Но

тут вопрос в другом (она порядком раззадорилась, видела Лили, и говорила очень возбужденно). С большой горячностью и красноречием она описала произвол, царящий в английской молочной отрасли, возмутительное качество молока, которое доставляют на дом, и уже была готова доказать свои обвинения, когда по всему столу, начиная с Эндрю в середине, пронесся смех, распространяясь стремительно, как торфяной пожар, — смеялись дети, смеялся муж; над ней открыто потешались, и миссис Рамзи, окруженной огнем со всех сторон, пришлось завесить свой герб, сложить оружие и принять ответные меры, наглядно продемонстрировав мистеру Бэнксу на примере насмешек за столом, какие испытания выпадают тому, кто осмеливается посягать на предрассудки британской общественности.

Тем не менее она сознавала, что Лили помогла ей с мистером Тэнсли и держится в стороне, поэтому нарочно отделила ее от прочих, сказав: «В любом случае Лили со мной согласна», и тем самым привлекла на свою сторону, чем слегка ее обрадовала и удивила. (Лили размышляла о любви). Оба в стороне, думала миссис Рамзи, и Лили, и Чарльз Тэнсли. Оба страдают от пыла двух других. Совершенно ясно, что его обеску-

раживает холодный прием, ведь в присутствии Пола Рэйли ни одна женщина на него даже не взглянет. Бедняга! Зато у него есть диссертация о влиянии такого-то на что-то там — он способен о себе позаботиться. Другое дело Лили. В сиянии Минты она блекнет, становится еще более незаметной в своем сереньком платьице, с мелкими чертами лица и узкими китайскими глазками. Все в ней такое мелкое! Впрочем, думала миссис Рамзи, сравнивая ее с Минтой и призывая на помощь (Лили подтвердит, что она рассуждает о своих молочных делах не больше, чем мистер Рамзи о своих ботинках — он готов говорить о них часами!), в сорок лет именно Лили будет выглядеть лучше. Есть в ней проблеск, искра, некое своеобразие, которое очень нравилось миссис Рамзи, хотя мужчина вряд ли его оценит. Разве что мужчина в летах, вроде Уильяма Бэнкса. А ведь она ему небезразлична, точнее, миссис Рамзи иногда так казалось, ведь после смерти жены ему одиноко. Конечно, ни о какой влюбленности речи нет, это всего лишь смутное влечение. Что за ерунда, оборвала она себя, Уильям обязан жениться на Лили! У них ведь столько общего: Лили обожает цветы, оба холодные, отстраненные и вполне самодостаточные. Нужно отправить их

на совместную прогулку!

Глупо было сажать их друг напротив друга. Ничего, завтра все исправим. Если погода позволит, устроим пикник. Все легко, казалось ей, все правильно. Прямо сейчас (увы, это не может длиться вечно, подумала она, отвлекаясь от разговора, потому что опять речь зашла о ботинках), прямо сейчас она в безопасности, парит в вышине, как ястреб, развевается на ветру, как флаг, наполняясь радостью бытия, наполняясь без остатка, но радостью не шумной, скорее торжественной, ведь та исходит, думала миссис Рамзи, наблюдая, как они едят, от мужа, детей и друзей; и в этой глубокой тишине (она выискивала кусочек для Уильяма Бэнкса, нырнув в глубины глиняного горшка) ей казалось, что радость совершенно не обязана оставаться здесь надолго, словно столб дыма, поднимающийся к небу, что держит их вместе. Ничего говорить не нужно, да и что тут скажешь? Радость повсюду, окружает со всех сторон. Она становится, чувствовала миссис Рамзи, выбирая для мистера Бэнкса особо нежный кусочек, вечностью; днем ей уже довелось ощутить нечто подобное — некую взаимосвязь, незыблемость; есть нечто, имела она в виду, что неподвластно переменам и сияет словно рубин

(она бросила взгляд в окно, покрытое рябью отраженных огней) наперекор всему текучему, ускользающему, призрачному; и вечером она вновь ощутила то же чувство умиротворения, покоя. Из таких моментов, подумала миссис Рамзи, и слагается то, что длится долго.

— Хватит на всех, — заверила она Уильяма Бэнкса. — Эндрю, держи тарелку пониже, а то опрокину. (*Boeuf en daube* действительно удалась на славу.) Здесь, чувствовала миссис Рамзи, можно работать или отдыхать, можно накладывать еду (добавку получили все) и слушать разговоры, внезапно пикировать с высоты, словно ястреб, сложив крылья, заслышав хохот, опираясь всем весом на то, что на другом конце стола муж говорит про квадратный корень из тысячи двухсот пятидесяти трех. Кажется, такие цифры были у него на часах.

Что это значит? До сего дня она и понятия не имела. Что такое квадратный корень? Ее сыновья наверняка знают. Она прислушалась, о чем говорят теперь — кубы и квадратные корни, Вольтер и мадам де Сталь, характер Наполеона, французская система землевладения, лорд Роузбери, мемуары Криви — она позволила себя захватить этому поистине достойному восхищения полотну

мужского интеллекта, которое тянулось назад и вперед, сплеталось в узоры — словно железные валки крутятся, наматывая готовую ткань, вбирая в себя весь мир, и миссис Рамзи могла полностью ему довериться, даже закрыть глаза или прищуриться, как дитя, что щурится с подушки на бесчисленные слои листвы в кроне дерева. Тут она очнулась. Выработка полотна продолжалась. Уильям Бэнкс нахваливал романы Уэверли.

По его словам, он читает их каждые полгода. Отчего же так распалился Чарльз Тэнсли? Он ринулся в бой (все оттого, подумала миссис Рамзи, что Прю с ним нелюбезна) и одним махом осудил все романы Уэверли, хотя не знает о них ровным счетом ничего, подумала миссис Рамзи, больше наблюдая за ним, чем слушая, что он говорит. Судя по манере поведения, ему хочется самоутвердиться, и так будет до тех пор, пока он не получит должность профессора или не женится, и нужда твердить «Я, я, я» отпадет. Собственно, к этому и сводится вся его критика бедняги сэра Вальтера или Джейн Остин. «Я, я, я». Судя по звучанию голоса, нажиму и взволнованности, Тэнсли думает лишь о себе и о впечатлении, которое производит. Успех пойдет ему на пользу. Во всяком случае, они снова разошлись. Теперь

можно не слушать. Надолго это не затянется, понимала миссис Рамзи, но сейчас взор ее прояснился и обвел сидящих за столом, обнажая все их помыслы и чувства без малейшего усилия, словно луч, что пронзает воды, проходя сквозь рябь и камыши, внезапно выхватывает мелких рыбешек и бесшумную форель, те замирают и подрагивают на свету. Она их видела, она их слышала, но воспринимала все сказанное издалека, словно наблюдала за перемещениями форели под водой, когда одновременно видишь рябь на поверхности и гравий, движение справа, движение слева — всю картинку целиком, в то время как в активной жизни она закидывала бы сети и отделяла одно от другого — сказала бы, что любит романы Уэверли или что не читала их вовсе, непременно заставила бы себя включиться в беседу, сейчас же промолчала. На данный момент она зависла в подвешенном состоянии.

— Да, но долго ли это продлится, как думаете? — поинтересовался кто-то. У миссис Рамзи словно сработали антенны, настроенные на определенные фразы — она почуяла опасность для мужа. За подобным вопросом почти наверняка последует замечание, которое заставит его усомниться в себе. Долго ли его будут читать? Уильям Бэнкс

(лишенный всякого тщеславия) засмеялся и добавил, что не придает значения модным тенденциям. Разве можно сказать, что продлится долго — хоть в литературе, хоть еще где?

— Давайте радоваться тому, что есть, — провозгласил он. Миссис Рамзи его цельность восхищала. Казалось, он ни на миг не задумывается: как это отразится на мне? Если же обладаешь другим темпераментом, нуждаешься в похвалах, ободрении, то вполне закономерно начинаешь волноваться (вот как мистер Рамзи сейчас), хочешь, чтобы кто-нибудь заверил: ваши работы переживут свое время, мистер Рамзи, или что-нибудь в таком духе. Он выразил свое беспокойство совершенно открыто, с раздражением бросив, что Скотт (или Шекспир?) уж точно переживет свое время. Он едва сдерживался. Всем, подумала миссис Рамзи, непонятно почему стало немного неловко. И тогда Минта Дойл, которая отличалась прекрасным чутьем, брякнула явную глупость, заявив, что не верит, будто от чтения Шекспира можно получить удовольствие. Мистер Рамзи мрачно откликнулся (хотя мыслями был уже далеко), что мало кто в этом признается. Тем не менее, добавил он, некоторые пьесы обладают несомненными достоинствами, и миссис Рамзи

увидела, что опасность миновала — он смеется над Минтой, и та, понимая его чрезвычайную тревогу за себя, позаботится о нем, вознесет ему хвалу так или иначе. Но ей хотелось, чтобы в этом не было необходимости — вероятно, чувствовала свою вину. В любом случае теперь она могла выслушать Пола Рэйли, пытавшегося рассказать про книги, прочитанные в детстве. Такие книги точно переживут свое время, полагал он. В школе он читал Толстого. Один роман ему особенно запомнился, только название позабыл. У русских — невозможные имена, заметила миссис Рамзи. «Вронский!» — воскликнул Пол. Он вспомнил, потому что для злодея имя очень подходящее. «Вронский, — повторила миссис Рамзи, — ах да, “Анна Каренина”», но дальше разговор не пошел — книги были не по их части. Конечно, Чарльз Тэнсли мог бы в два счета поддержать и развить тему, не будь так озабочен впечатлением, которое производит, и не переходи постоянно на себя, ведь в конечном итоге про Толстого они бы так и не узнали, в то время как Пол держится предмета разговора и на себя не отвлекается. Как и всем людям недалеким, ему присуща определенная скромность, уважение к чужим чувствам, что порой весьма кстати. Сейчас он думал не о себе и

не о Толстом — его заботило, не замерзла ли миссис Рамзи, не сидит ли на сквозняке, не хочется ли ей грушу.

Нет, сказала она, грушу не хочется. Сама того не сознавая, она ревниво охраняла блюдо с фруктами, надеясь, что к ним никто не прикоснется. Взгляд ее блуждал по изгибам и теням плодов, спускался в долину по ярко-лиловым виноградинам, поднимался на зубчатый край раковины, сопоставляя желтое с лиловым, дугу с округлостью, не зная, зачем и почему это так ее успокаивает, пока — о нет, только не надо трогать! — не протянулась чья-то рука, не схватила грушу и не испортила всю композицию. Миссис Рамзи сочувственно посмотрела на Роуз. Она посмотрела на Роуз, сидевшую между Джаспером и Прю. Как странно, что такую красоту создал твой ребенок!

Как странно смотреть на своих детей, сидящих в ряд — Джаспер, Роуз, Прю, Эндрю, — притихли, но, судя по подергиванию губ, над чем-то посмеиваются втихомолку. Задумали что-то свое, совсем далекое от происходящего здесь, и смеяться будут уже у себя в комнате. Миссис Рамзи надеялась, что не над отцом. Нет, вряд ли. В чем же дело, гадала она не без грусти и чувствовала себя лишней.

Застывшие, неподвижные, похожие на маски лица хранили тайну, не желали присоединяться к взрослым — скорее зрители, наблюдатели — и держались немного особняком. И все же, глядя сегодня вечером на Прю, мать видела, что она меняется. Прю понемногу оттаивала, начинала двигаться, снисходить. Лицо ее слегка светилось, словно отражая сияние Минты, ее волнение, предвкушение счастья, словно над столом взошло солнце любви, и она невольно потянулась к нему, радостно приветствуя. Прю не сводила с Минты глаз, рассматривая ее застенчиво и все же с любопытством, и миссис Рамзи, смерив взглядом обеих девушек, мысленно обратилась к Прю: когда-нибудь ты будешь так же счастлива, как и она. И даже еще счастливее, добавила она, ведь ты же моя дочь, имея в виду, что ее дочери положено гораздо больше счастья, чем чужим дочерям. Тем временем ужин подходил к концу. Пора расходиться. Все просто играют с остатками еды, размазывают их по тарелкам. Пусть закончат смеяться над историей, которую рассказывает муж — что-то насчет пари с Минтой, и тогда она встанет из-за стола.

Чарльз Тэнсли ей нравится, внезапно поняла миссис Рамзи, нравится его смех, нравится его

нескладность, нравится, что он так разозлился на Пола с Минтой. Как ни крути, в молодом человеке что-то есть. А Лили, подумала она, кладя салфетку рядом с тарелкой, всегда найдет, над чем посмеяться. За Лили можно не беспокоиться. Подождав, она сунула салфетку под край тарелки. Ну что, закончили? Нет. Одна история перетекла в другую. Сегодня муж был в прекрасном расположении духа и, вероятно, желая сгладить перед стариком Августом неловкость из-за недоразумения с супом, втянул его в разговор — они вспоминали общего знакомого из колледжа. Миссис Рамзи посмотрела в окно — на черных стеклах отражения свечей казались более яркими, и голоса доносились до нее странным эхом, как во время службы в соборе, потому что в слова она не вслушивалась. Внезапные взрывы хохота и женский голос (Минты) напомнили ей о мужском хоре, поющем на латыни во время службы в римско-католическом соборе. Она ждала. Муж говорил, декламируя наизусть, и по ритму, по звенящему ликованию и печали в голосе она догадалась, что

это стихи [4]:

Вверх по садовой дорожке иди,
Луриана, Лурили,
Роза китайская в пышном цвету
От пчелы медовой гудит.

Слова (миссис Рамзи глядела в окно) плыли по воздуху, будто цветы в воде, сами по себе, никем не произнесенные, зародившиеся самопроизвольно.

Все жизни, что мы прожили,
Все жизни, что у нас впереди
Деревьев полны и палой листвы,
Луриана, Лурили.

Миссис Рамзи не знала, что они означают, но, как и музыка, слова говорили ее собственным голосом, внутри ее, говорили легко и непринужденно, выражая то, о чем она думала весь вечер, произнося совсем другое. Она знала, не глядя, что все за столом слушают, как голос произносит:

---

[4] Примечания: 4

Строки из стихотворения «Луриана Лурили» Чарльза Элтона (1839–1900), английского юриста, политика, литератора. Это единственное стихотворение, которое сохранилось, остальные сожгла перед смертью его вдова, заботясь о репутации покойного.

Не знаю, заметишь ли ты,

Луриана, Лурили

с тем же облегчением и радостью, что и она, будто нечто само собой разумеющееся, будто звучит их собственный голос.

Но вот голос умолк. Миссис Рамзи огляделась, заставила себя подняться. Август Кармайкл встал и, держа салфетку так, что она походила на длинное белое одеяние, нараспев произнес:

Смотреть, как едут верхом волхвы

Через заросший ромашками луг,

Ветви кедра и пальмы везут они

Луриана, Лурили.

и, когда она проходила мимо, чуть повернулся к ней и повторил последнюю строчку:

Луриана, Лурили

и поклонился, будто отдал дань уважения. Внезапно она поняла, что нравится ему как никогда прежде, с облегчением и благодарностью поклонилась в ответ и прошла в дверь, которую он заботливо придержал.

Теперь нужно было сделать еще один шаг, закрепить успех. Держа ногу на пороге, миссис

Рамзи помедлила, наслаждаясь ускользающей сценой, взяла Минту за руку и вышла из комнаты, чувствуя, как все меняется, принимает иные очертания, становится, знала она, бросая последний взгляд из-за плеча, точнее, уже стало прошлым.

18

Как обычно, подумала Лили. Вечно миссис Рамзи нужно сделать что-нибудь сию же минуту, руководствуясь собственными резонами, вот как сейчас, когда все стоят, перешучиваясь, и не могут решить, то ли пойти в курительную или в гостиную, то ли разойтись по своим комнатам. А миссис Рамзи стоит посреди всеобщей суматохи, держит Минту за руку, думая: «Да, теперь самое время», и с таинственным видом отбывает восвояси. Стоило ей уйти, как компания распалась — все дрогнули и разбрелись кто куда, мистер Бэнкс взял Чарльза Тэнсли под руку и повел на террасу заканчивать начатую за ужином беседу о политике, тем самым резко сменив курс вечера, сместив чашу весов, думала Лили, глядя им вслед и ловя на слух пару слов о политике партии лейбористов, словно они зашли на мостик корабля и определяют координаты — резкий переход от поэзии к политике ее поразил; мистер Бэнкс с Чарльзом Тэнсли удалились, остальные же смотрели, как миссис Рамзи в сиянии ламп поднимается по лестнице. Куда же, думала Лили, она так спешит?

Миссис Рамзи вовсе не бежала, не торопилась, шла довольно медленно. После всей этой болтовни ей хотелось немного постоять и кое-что обдумать, кое-что важное, отделить его от прочего, очистить от эмоций и наносной чепухи, подержать перед собой и вынести на суд, на закрытое совещание, где сидят судьи, которых она назначила для решения подобных вопросов. Хорошо ли, плохо ли, правильно или нет? Куда мы все идем? и прочая, прочая. Так она приходила в себя после завершения вечера, безотчетно и несуразно цепляясь взглядом за ветви вязов, пытаясь обрести устойчивость. Ее мир менялся, они же оставались неподвижны. Казалось, ужин ее оживил. Все будет в порядке. Она все уладит, думала миссис Рамзи, бессознательно отдавая дань уважения неподвижности вязов, мерному вздыманию (словно нос корабля на волне) крон на ветру. Поднялся ветер (она остановилась и посмотрела в окно). Листва металась, то и дело проглядывали звезды, дрожали, испускали свет и пытались сиять в просветах. Значит, дело сделано и стало сокровенным, как все свершившееся. Если думать отвлеченно, отрешившись от суеты и лишних эмоций, то казалось, что так было всегда, только сегодня оно сделалось явным и

тем самым придало стабильность всему. Вновь и вновь, на протяжении всей жизни они будут возвращаться к этому событию, к этому вечеру, луне, ветру, дому, да и к ней тоже. Мысль о том, что теперь она навеки вплетена в их сердца, ей льстила, ведь к лести миссис Рамзи была особенно восприимчива, и она радовалась, что в них останется это, и это, и это, думала она, поднимаясь по ступеням и смеясь, ласково оглядывая козетку на лестничной площадке (ее матери), кресло-качалку (ее отца), карту Гебридских островов. И это все вернется к жизни в памяти Пола и Минты, супругов Рэйли — она попробовала новое имя и ощутила, коснувшись ручки на двери детской, как общность чувств с другими людьми, которую дают эмоции, делает разделяющие их стены настолько тонкими, что все практически сливается в единый поток (и приносит огромное облегчение и счастье), кресла, столы, карты принадлежат и ей, и им — неважно кому, и Пол с Минтой увлекут все это за собой, когда она умрет.

Она решительно повернула ручку, чтобы та не скрипнула, и вошла, поджав губы, словно желая себе напомнить, что шуметь нельзя. Но войдя, сразу поняла, что зря осторожничает. Дети не спали. Весьма досадно! Милдред следует быть

построже. Джеймс лежал с открытыми глазами, Кэм сидела в кровати, а Милдред встала с постели босиком, и все разговаривали, хотя время близилось к одиннадцати. Что случилось? Опять этот жуткий череп! Она велела Милдред его убрать, но Милдред, конечно, позабыла, и теперь Кэм не спала, Джеймс спорил, хотя всем давно следовало уснуть. И как только Эдварду пришло в голову прислать им этот отвратительный череп? Глупо было позволять детям вешать его на стену. Прибили крепко, сказала Милдред, и Кэм не могла из-за него уснуть, а Джеймс вопил, стоило к нему прикоснуться.

Кэм должна уснуть (у него большие рога, сказала Кэм), должна уснуть и видеть прекрасные дворцы, проговорила миссис Рамзи, садясь с ней рядом на кровать. Рога видно, сказала Кэм, по всей комнате видно. Действительно, где ни поставишь лампу (а Джеймс спать без света не мог), всюду тени рогов.

— Кэм, это всего лишь старый кабан, — убеждала миссис Рамзи, — хороший черный кабанчик вроде тех, что на ферме.

Но Кэм считала, что это чудовище, которое тянется к ней отовсюду.

— Ладно, — сказала миссис Рамзи, — мы его

прикроем.

И под бдительными детскими взглядами подошла к комоду, порылась в ящиках, не обнаружила ничего подходящего, сняла с плеч шаль и обмотала ею череп в несколько оборотов, потом вернулась к Кэм, положила голову на подушку и сказала, что теперь он выглядит прелестно, феям наверняка понравится, похож на птичье гнездышко, на красивую гору, которую она видела за границей, с долинами и цветами, где звенят колокольчики и поют птицы, а маленькие козочки и антилопы… Она видела, как слова эхом отражаются в сознании Кэм, и девочка ритмично повторяла вслед за ней про красивую гору, птичье гнездышко, садик и маленьких антилоп, все более ритмично и рассеянно, что она должна закрыть глаза и уснуть, видеть сны про горы и долины, падающие звездочки и попугаев, антилоп и садики, про все прелестное, машинально твердила миссис Рамзи, пока не убедилась, что Кэм спит.

Теперь, прошептала она, подходя к другой кроватке, Джеймс тоже должен уснуть, ведь череп кабана на месте, они к нему даже не притронулись, сделали, как он хотел, с ним ничего не случилось. Мальчик убедился, что череп нахо-

дится под шалью, однако его волновало и кое-что еще. Поедут ли они на маяк завтра?

Нет, не завтра, но скоро, пообещала мать, в следующий погожий день. Он вел себя очень хорошо, лег на кровать. Она накрыла его одеялом. Увы, мальчик никогда не забудет, думала она и злилась на Чарльза Тэнсли, на мужа и на себя, за то что вселила в него надежду. Потянувшись поправить шаль, миссис Рамзи вспомнила, что обернула ею кабаний череп, встала, прикрыла окно еще чуть-чуть, услышала ветер и ощутила дуновение равнодушного, холодного ночного воздуха, шепотом пожелала Милдред доброй ночи и вышла из комнаты, подождала, пока язычок замка медленно защелкнется, и ушла.

Надеюсь, Чарльз Тэнсли не станет швырять книги на пол у них над головой, думала она, вспоминая, сколь он бывает невыносим. Дети возбудимые и спят плохо, а если он позволяет себе говорить такие вещи о маяке, то и стопку книг может со стола смахнуть, случайно двинув локтем, как раз когда они засыпают. Миссис Рамзи предположила, что он поднялся наверх поработать. Вид у него унылый — скорее бы уехал, и все же она проследит, чтобы завтра с ним обращались получше, ведь он прекрасно ладит

с ее мужем, хотя манеры у него не ахти, зато ей нравилось, как он смеется, — размышляя об этом, она спускалась по ступеням и заметила в окне площадки луну — желтую полную луну накануне равноденствия, — повернула, и все увидели, что она стоит над ними на лестнице.

Вот и моя мать, подумала Прю. Да, Минте стоит на нее посмотреть и Полу Рэйли тоже. Все дело в том, поняла она, что ее мать — единственная в целом свете, таких больше нет. И хотя еще миг назад Прю была вполне взрослой и беседовала с остальными, она вновь ощутила себя ребенком, играющим в игру, и задалась вопросом, одобрит ли эту игру мать или осудит. Думая о том, как повезло Минте, Полу, Лили ее узнать, чувствуя, что ей необычайно повезло иметь такую мать, что она никогда не вырастет и не покинет дом, Прю сказала, как ребенок: «Мы хотим сходить на берег и посмотреть на волны».

Мгновенно, без всякой причины миссис Рамзи развеселилась словно двадцатилетняя девушка. Ее потянуло на авантюры. Конечно, идите, конечно, идите, вскричала она со смехом, проворно слетела с последних трех-четырех ступенек и обошла всю компанию, смеясь и кутая плечи Минты в палантин, жалея, что не может пойти

с ними, ведь они вернутся очень поздно, и есть ли у них часы?

— Да, у Пола есть, — заверила Минта. Пол вынул из замшевого чехольчика красивые золотые часы и показал миссис Рамзи. Протягивая их на ладони, он чувствовал: «Она все знает. Мне не нужно ничего говорить». Показывая ей золотые часы, он словно говорил: «Я решился, миссис Рамзи. И все благодаря вам!» А миссис Рамзи, глядя на золотые часы в его ладони, думала: Минте невероятно повезло! Она выходит замуж за человека, у которого есть золотые часы в замшевом чехле!

— Как бы я хотела пойти с вами! — вскричала она, но ее удерживало нечто настолько серьезное, что она даже не задумывалась, что именно. Конечно, ей с ними никак нельзя. Ей очень хотелось пойти, если бы не одно обстоятельство, и, позабавившись нелепости собственной мысли (как удачно выйти замуж за человека, у которого есть золотые часы в замшевом чехле), с улыбкой на губах она вошла в другую комнату, где сидел и читал ее муж.

19

Конечно, сказала себе она, входя в комнату, мне здесь кое-что нужно. Прежде всего — сесть в определенное кресло под определенной лампой. Но ей нужно и нечто большее, хотя и непонятно, что именно. Миссис Рамзи посмотрела на мужа (взяв чулок и начиная вязать) и увидела: тот явно не хочет, чтобы ему мешали. Чтение очень его растрогало. Он чуть улыбался, сдерживая эмоции, перелистывал страницы. Возможно, даже разыгрывал сцену из книги, представляя себя ее персонажем. Интересно, что за книга? Ах да, роман сэра Вальтера, заметила она, поправляя абажур, чтобы свет падал на вязанье. Ведь Чарльз Тэнсли заявил (она посмотрела вверх, словно ожидая услышать грохот книг об пол), что Вальтера Скотта больше никто не читает. И тогда ее муж подумал: «Так и обо мне скажут», поэтому пошел сюда и взялся за книгу. И если он решит, что Чарльз Тэнсли прав, то смирится насчет Скотта. (Миссис Рамзи видела, как во время чтения он взвешивает, обдумывает, сопоставляет.) Но только не насчет себя! Вечно он беспокоится насчет себя, и ее это тревожило. Вечно он переживает из-

за своих книг — станут ли их читать, достаточно ли они хороши, что о нем скажут люди? Досадуя, что думает о нем так, тревожась, что за ужином все могли догадаться, почему он внезапно рассердился, стоило заговорить о долговечности славы и книг, гадая, не над этим ли потешались дети, резким движением она подняла чулок на просвет, и на лице ее проступили тени — тонкие, как изящная гравировка, нарисованные стальными спицами вокруг губ и лба, и она застыла неподвижно, словно дерево, которое металось и трепетало на ветру, а теперь постепенно, листок за листком, погружается в состояние покоя.

Неважно, совсем неважно, думала миссис Рамзи. Великий человек, великая книга, слава — кто знает? Ей об этом ничего не известно. Но его манера поведения, его правдивость — к примеру, за ужином она безотчетно думала: только бы заговорил! Она полностью на него уповала. И, отбросив это все, словно ныряльщик, минующий водоросли, соломинку, пузырек воздуха, вновь ощутила, погружаясь глубже, как в холле, когда остальные разговаривали: мне кое-что нужно, я за этим и пришла, и падала глубже и глубже с закрытыми глазами, сама не понимая, что ей нужно. И ждала, вязала и недоумевала, и медлен-

но всплыли слова, сказанные за ужином:

Роза китайская в пышном цвету
От пчелы медовой гудит,

стали ритмично перекатываться в сознании, плескаться, слова складывались в тусклые огоньки — красный, синий, желтый, — горели во тьме сознания, вспархивали с жердочек, летали туда-сюда или кричали, и им вторило эхо; миссис Рамзи повернулась к столику и нащупала книгу.

Все жизни, что мы прожили,
Все жизни, что у нас впереди
Деревьев полны и палой листвы,

пробормотала она, втыкая спицы в чулок. Открыла книгу наугад, начала читать, листая страницы, и ей казалось, что она карабкается задом наперед, наверх, выбираясь из-под лепестков, которые над нею изгибаются, и различала лишь два цвета — белый и красный. Сначала она вообще не понимала, что означают слова.

Плывите сюда, плывите
На всех парусах,

Обессилевшие моряки [5], —

прочла она, раскачиваясь, двигаясь зигзагами вправо-влево, от одной строчки к другой, словно с ветки на ветку, с белого цветка на красный, пока ее не отвлек негромкий звук — муж хлопнул себя по бедрам. На миг их взгляды встретились, но разговаривать они не хотели. Им было нечего сказать, и все же между ними что-то проскользнуло. Миссис Рамзи понимала, что заставило его хлопнуть себя по бедрам, — сама жизнь, ее воля, ее безудержный восторг. Он словно говорил: не мешай мне, молчи, просто сиди рядом. И он продолжил чтение, уголки рта подрагивали, оно переполняло его, укрепляло духом. Он начисто позабыл мелкие недоразумения и подначки этого вечера, и как невыносимо скучал, вынужденный сидеть среди жующих и пьющих людей, и как рассердился на жену, как разобиделся на всех, когда его книги обошли молчанием, словно их не существует вовсе. Наплевать, кто там дойдет до Z (если мысль движется в алфавитном порядке от A до Z). Не он, так другой. Сила и здравомыслие героя, его отношение к простым и понятным вещам, к рыбакам, к бедной сумасшедшей старухе

---

[5] Примечания: 5
Уильям Броун (1590–1645). Песнь сирены.

в лачуге Маклбеккитов [6] придали ему такой бодрости, даровали такое чувство освобождения, что он преисполнился ликования и не смог сдержать слез. Прикрыв книгой лицо, мистер Рамзи позволил им пролиться и покачал головой, совершенно позабыв про себя (но не забыв пару мыслей о морали, о французских и английских романах и о том, что у Скотта связаны руки, хотя его взгляды ничуть не менее истинны, чем у других), совершенно позабыв про свои тревоги и неудачи, померкшие перед гибелью юного Стини и горем Маклбеккитов (эта сцена Скотту особенно удалась), и восхищаясь восторгом и ощущением бодрости, которое дарила ему книга.

Что ж, пусть попробуют его превзойти, подумал мистер Рамзи, дочитывая главу. Он словно поспорил с кем-то и одержал верх. Сэра Скотта им не превзойти, что бы ни говорили, и его собственная позиция еще больше упрочилась. Влюбленные — чепуха, конечно, думал он, мысленно собирая все воедино. Это — чепуха, это — прекрасно, судил он, сравнивая одно с другим. Нужно перечитать еще раз. Он не мог вспомнить

[6] Примечания: 6

Персонажи историко-приключенческого романа Вальтера Скотта «Антикварий» (1816), который сам автор считал своим лучшим произведением.

общей картины, поэтому пока воздержится от суждений. И мистер Рамзи вернулся к другой мысли — если молодежи нет дела до этого, им нет дела и до него. Сетовать не стоит, подумал он, пытаясь справиться с порывом пожаловаться, что молодежь им не восхищается. Он был полон решимости больше ее не беспокоить. Он наблюдал, как она читает. Вид очень умиротворенный. Ему нравилось думать, что все разошлись и они остались вдвоем. Жизнь вовсе не сводится к тому, чтобы лечь с женщиной в постель, подумал он, возвращаясь к Скотту и Бальзаку, к английскому и французскому роману.

Миссис Рамзи подняла голову, словно очнувшись от грезы, давая понять: если он хочет, она проснется, правда проснется, но если нет, продолжит грезить, еще немного, еще капельку. Она взбиралась по ветвям, и так и эдак, хватаясь то за один цветок, то за другой.

И розе пунцовой хвалу я не вознес [7],

читала она, взбираясь на вершину, на самую вершину. Как приятно! Как спокойно! Все осколки и обрывки дня липли к этому магниту, сознание

---

[7] Примечания: 7
Здесь и далее миссис Рамзи читает 98-й сонет Уильяма Шекспира.

очищалось от всего наносного. И вот он появился весь целиком, лег ей прямо в руки — прекрасный и разумный, звучный и совершенный — сонет.

Она почувствовала взгляд мужа. Тот насмешливо улыбался, словно журил, что она заснула среди бела дня, и в то же время думал: продолжай читать, теперь ты не выглядишь печальной. Интересно, что это за книга, гадал он, преувеличивая ее невежество, ее простоту, поскольку ему нравилось думать, что она не очень-то умна и мало разбирается в книгах. Он гадал, понимает ли жена вообще, что читает. Вряд ли, решил мистер Рамзи. Но до чего красива! Казалось, с годами ее красота только приумножается, если это возможно.

Но мне казалось, что вокруг царит зима,

Ведь без тебя весна – лишь тень самой себя, —

закончила она.

— Ну что? — спросила миссис Рамзи, подняв взгляд и с мечтательным видом улыбнувшись мужу.

Ведь без тебя весна – лишь тень самой себя, —

прошептала она, кладя книгу на стол.

Что же произошло, гадала миссис Рамзи, вновь берясь за вязание, с тех пор как они оставались наедине? Она помнила, как одевалась к ужину, как смотрела на луну, Эндрю поднял тарелку слишком высоко, она расстроилась из-за слов Уильяма, птицы на деревьях, козетка на лестничной площадке, дети не спят, Чарльз Тэнсли перебудил их, столкнув книги на пол — ах, нет, это она выдумала, и у Пола есть замшевый футлярчик для часов. О чем же ему рассказать?

— Они помолвлены, — сказала миссис Рамзи, начиная вязать, — Пол с Минтой.

— Я так и думал, — откликнулся он. На этом тема иссякла. У нее в голове все еще кружились прочитанные стихи, он все еще чувствовал себя ободренным, воспрянувшим после чтения про похороны Стини, и оба сидели молча. Затем ей отчаянно захотелось, чтобы он что-нибудь сказал.

Все что угодно, все что угодно, думала она, продолжая вязать. Лишь бы не молчал.

— Славно, должно быть, выйти замуж за человека, у которого есть замшевый футлярчик для часов, — промолвила миссис Рамзи, потому что они любили шутить на подобные темы.

Он фыркнул. К этой помолвке мистер Рам-

зи относился примерно так же, как и к любой другой: девушка слишком хороша для такого молодчика. И постепенно до нее дошло: зачем же тогда сводить людей вместе? В чем прок, в чем смысл? (Сейчас истинность обретало любое слово.) Скажи что-нибудь, думала она, дай услышать твой голос! Она чувствовала, как вокруг снова смыкается тень. Только не молчи, умоляла она взглядом, прося о помощи.

Он молчал, покачивая компас на цепочке для часов взад-вперед и размышляя о романах Скотта и Бальзака. Сквозь сумеречные стены близости — они невольно сближались, становясь бок о бок, совсем рядом, — она чувствовала, как сознание мужа, словно поднятая рука, затеняет ее сознание, и он начинает (теперь, когда ее мысли приняли неприятный для него оборот — пессимистичный, как он его называл) нервничать, хотя и молчит, подносит руку ко лбу, играет прядью волос, снова роняет.

— Чулок ты сегодня не закончишь, — заметил он, указывая на вязанье. Этого ей и хотелось — резкости, упрека в голосе. Если муж говорит, что смотреть на вещи пессимистично — плохо, наверное, так и есть, подумала она; значит, брак Пола и Минты будет удачным.

— Да, — кивнула она, расправляя чулок на колене, — не закончу.

И что дальше? Она чувствовала, что муж на нее смотрит, но взгляд его изменился. Он чего-то хотел — хотел того, что ей всегда было очень трудно ему дать, хотел, чтобы она сказала, что любит. Нет, только не это! Ему гораздо легче говорить о таких вещах, чем ей. Он может, а она нет. Разумеется, он всегда говорил о любви сам, потом внезапно распалялся и начинал ее упрекать, называл бессердечной, ведь она никогда не говорила, что любит. Но это не так — совсем не так! Если бы только она могла сказать о том, что чувствует… Нет ли крошек у него на пиджаке? Может ли она что-нибудь для него сделать? Поднявшись, миссис Рамзи встала у окна с рыжевато-коричневым чулком в руках, отчасти желая отвернуться, отчасти желая полюбоваться ночным морем, и знала, что он за ней наблюдает. Она поняла, о чем он думает: ты красива как никогда, и почувствовала себя очень красивой. Неужели не скажешь хотя бы раз, что любишь? Так он думал, возбудившись из-за Минты и книги, из-за того, что день подошел к концу, что сегодня они поссорились из-за прогулки на маяк. Увы, она не могла, просто не могла этого сказать. Чувствуя на

себе его взгляд, она без лишних слов обернулась, держа в руках чулок, и посмотрела на мужа. И, глядя на него, улыбнулась, потому что он, конечно, понял: любит. Он не мог этого отрицать. С улыбкой она посмотрела в окно и сказала (думая про себя, что с этим счастьем не сравнится ничто на свете):

— Да, ты прав. Завтра погоды не будет. Мы не сможем поехать. — И посмотрела на него с улыбкой, потому что вновь одержала победу. Она этого не сказала, но он понял.

Проходит время

1

— Остается только ждать, что покажет будущее, — проговорил мистер Бэнкс, вернувшись с террасы.

— Слишком темно, почти ничего не видно, — заметил Эндрю, вернувшись с берега.

— Не разобрать, где море, где суша, — добавила Прю.

— Свет оставляем? — спросила Лили, снимая плащ.

— Нет, — ответила Прю, — если все дома, то нет. Эндрю, — окликнула она, — выключи свет в холле.

Лампы погасили все, кроме мистера Кармайкла, который любил почитать Вергилия перед сном, и его свеча горела еще долго.

2

Луна скрывалась в тучах, по крыше барабанил мелкий дождик. Когда погасили все лампы, нахлынула непроглядная тьма. Казалось, она сметает все на своем пути, забивается в замочные скважины и трещины, обволакивает шторы, проникает в спальни, поочередно поглощает кувшин, таз, чашу с красными и желтыми георгинами, острые углы и массивную глыбу комода. Пострадала не только мебель — едва ли что осталось от тела и духа, чтобы с определенностью сказать: «Это он» или «Это она». Лишь поднималась рука, пытаясь что-то схватить или оттолкнуть, раздавался стон или смех, словно кто-то делился шуткой с небытием.

В гостиной, столовой и на лестнице все замерло, сквозь ржавые петли и разбухшие от морской влаги дверные проемы сочились отдельные дуновения, оторвавшиеся от потока ветра (в конце концов, дом совсем обветшал), тихонько огибали углы и пробирались внутрь. Никто не удивился, когда они ворвались в гостиную и поинтересовались, теребя полоску отставших обоев, доколе еще она продержится, когда наконец упадет?

Легонько коснувшись стен, они недоуменно скользнули дальше, словно вопрошая красные и желтые розы на обоях, когда же те поблекнут, и допытываясь (ненавязчиво, ведь времени у них предостаточно) у обрывков писем в корзинке для бумаг, у цветов, у книг, теперь таких уязвимых: Вы — союзники? Враги? Сколько еще продержитесь?

И вот какой-то случайный свет — то ли проглянувшей сквозь тучи звезды, то ли заплутавшего корабля, то ли даже маяка — поманил их по своим бледным следам к лестнице, и легкие дуновения поднялись наверх и засновали у дверей спален. Здесь им, конечно, надлежало развеяться. Что бы ни гибло и ни приходило в упадок внизу, здесь все неизменно. Здесь не место блуждающим лучам и чахлым дуновениям, что норовят нависнуть над кроватью, здесь нельзя ни к чему прикасаться, нельзя ничего портить. И тогда, словно перисто-упругие призраки с легкими как перышки пальцами, они бросили усталый взгляд на закрытые глаза и неплотно сплетенные руки спящих, устало подхватили свои одежды и исчезли. И так, вынюхивая и тыкаясь носом, обследовали окно на лестничной площадке, спальни слуг, коробки на чердаке; спустившись, обесцветили яблоки на

обеденном столе, переворошили лепестки роз, потрогали картину на мольберте, прошлись по ковру, сметая на пол песчинки. Наконец свились воедино, вздохнули в горестном порыве, слегка распахнули кухонную дверь, и та захлопнулась, так никого и не впустив.

(Тут мистер Кармайкл, читавший Вергилия, задул свечу. Было за полночь.)

3

В конце концов, что такое одна ночь? Короткий промежуток времени, особенно если темнота быстро рассеивается, начинают петь птицы, кричит петух и в глубине волны проступает бледная зелень, словно листок распускается. Одна ночь сменяется другой. Зима припасла их в избытке и распределяет равномерно, деля поровну не знающими усталости пальцами. Ночи удлиняются, становятся темнее. В иные из них в небесах сияют яркие, лучезарные светила. Облетающие осенние деревья машут потрепанными стягами, пламенея в сумраке прохладного храма, где на мраморных страницах золотыми буквами описана гибель в битве, белеющие кости сгорают в песках Индии. Перед днем осеннего равноденствия деревья мерцают в желтом лунном сиянии, которое умеряет трудовой пыл, сглаживает стерню и захлестывает берег синевой.

Такое чувство, что Божественная благодать, тронутая людским раскаянием и тяжким трудом, раздвинула завесу и явила зайца на задних лапах, опадающую волну, покачивающуюся лодку — все это, если бы мы заслужили, стало бы на-

шим навсегда. Но увы, Божественная благодать, дернув за шнур, опускает завесу — она недовольна, она скрывает свои сокровища стеной града и разбивает вдребезги, сваливает в кучу, и кажется невозможным, что покой вернется, что мы сможем собрать осколки воедино или отыскать в них слова истины. Ибо наше упорство заслуживает лишь мимолетного взгляда, лишь временного облегчения в тяжком труде.

Теперь по ночам царят ветра и разрушение, деревья качаются, гнутся и стремительно теряют листву, та устилает лужайку, забивается в водосточные желоба и трубы, щедро усыпает мокрые дорожки. Море волнуется, не зная покоя, и, если кому-то пригрезится, что на берегу он сможет найти ответы на свои вопросы и развеять сомнения, если кто-то скинет одеяло и отправится бродить по песку, никакое божественное вмешательство не призовет ночь к порядку и не заставит мир указать курс мятущейся душе. Рука сжимает пустоту, в ухо ревет голос. И становится ясно, что в таком хаосе бесполезно вопрошать ночь, зачем и почему — не получит он ответов на вопросы, которые погнали его из постели.

(Однажды ранним утром мистер Рамзи, бредя по коридору, раскинул руки, но те остались пу-

сты, ведь прошлой ночью миссис Рамзи внезапно умерла.)

4

И когда дом опустел, двери заперли и матрасы скатали в рулоны, бродячие дуновения, передовые отряды великих армий, влетели в дом, накинулись на голые доски, стали их глодать и трепать, не встретив достойного сопротивления ни в спальне, ни в гостиной — лишь хлопающие шторы, скрипучее дерево, голые ножки столов, потускневшие, покрытые налетом кастрюли, потрескавшийся фарфор. Вещи, которые люди бросили и ушли — пара ботинок, охотничья кепка, выцветшие юбки, плащи в шкафах, — только они в этом запустении хранили контуры людских фигур и указывали на то, что когда-то их надевали, руки возились с крючками и пуговицами, в зеркале отражалось лицо, отражался целый мир, где двигался силуэт, мелькала рука, открывалась дверь, гурьбой вбегали дети и уносились прочь. Теперь день за днем свет отбрасывал на противоположную окну стену четкие силуэты, качавшиеся, словно отражение цветка в воде. Тени деревьев, колышущихся на ветру, выражали свое почтение глубоким поклоном и на миг заслоняли лужу, в которой вспыхивал луч; или

птица, пролетая, роняла тень, медленно скользящую по полу спальни мягким пятном.

Теперь здесь правило прекрасное и недвижное, являвшее собой призрак красоты — форму, лишенную жизни, одинокую, словно бледный вечерний пруд вдалеке, мельком увиденный из окна поезда, который исчезает настолько быстро, что беглый взгляд вовсе не лишает его уединения. Прекрасное и недвижное скрестили руки в спальне, стоя среди обернутых в ткань кувшинов и завешанных кресел, и даже пронизывающий ветер и мягкие носы холодных, влажных морских сквозняков, что трутся повсюду, гнусаво сопят и назойливо пытают — «Вы пропадете? Вы исчезнете?» — ничуть не нарушали покой, равнодушие, атмосферу неприкосновенности, словно подобные вопросы вовсе не требуют ответа: мы остаемся, говорили они.

Казалось, ничто не могло развеять этот образ, разрушить его непорочность или потревожить покров безмолвия, который неделя за неделей укутывал дом, вплетая в себя крики птиц, пароходные гудки, жужжание и гул лугов, лай собак, людские возгласы. Лишь раз на лестничной площадке подскочила доска, да посреди ночи ослабела и закачалась туда-сюда складка шали

— с грохотом, с треском, словно после столетий покоя камень сорвался с горы и обрушился в долину. И вновь снизошел покой, задрожала тень, свет склонился в обожании к привычному месту на стене спальни, и миссис Макнаб, рванув пелену безмолвия руками, распаренными стиркой, топча ее ботинками, захрустевшими по гравию, пошла, как было велено, открывать окна и подметать спальни.

5

Рыская, словно корабль по волнам, и бросая косые взгляды (прямых она избегала, уклоняясь от мирского презрения и злобы — знала, что умом скудна), цепляясь за перила и потихоньку подтягивая себя вверх по лестнице, перекатываясь из комнаты в комнату, миссис Макнаб напевала. Протирая продолговатое зеркало и посматривая искоса на свое покачивающееся отражение, она мурлыкала эстрадный мотивчик, популярный лет двадцать назад, но теперь, из уст беззубой, облаченной в чепец прислуги, звучавший глупой, бессмысленной пародией, воплощением терпеливости, которую попирают, а она распрямляется вновь — так и старуха рыскала, мела, протирала, всем своим видом говоря, что жизнь — долгая череда печалей и невзгод, только и знаешь, что вставать да ложиться спать, выносить вещи да убирать обратно. Почти семьдесят лет ей жилось нелегко и бесприютно, усталость клонила ее к земле. Доколе, гадала она, хрустя суставами и стеная, стоя на коленях под кроватью, протирая половицы, доколе еще терпеть? Но вновь с трудом поднималась, брала себя в руки, все тем же

косым взглядом, ускользающим прочь даже от собственного лица и от своих печалей, вставала и изумленно смотрела в зеркало, бессмысленно улыбаясь, вновь семенила, прихрамывая, вытряхивать коврики, протирать фарфор, искоса поглядывая в зеркало, словно у нее были свои утешения, словно скорбная песнь дарила ей неизбывную надежду. Мечты о радости наверняка приходили к ней за стиркой, скажем, при мысли о детях (хотя обоих прижила без мужа, и один ее покинул), в пивной за кружкой или за разбором старого хлама в комоде. Вероятно, в пелене мрака все же зиял просвет, узкая щель, сквозь которую проникало достаточно света, чтобы миссис Макнаб хватило сил улыбаться в зеркало и возобновлять уборку, бормоча под нос популярную некогда эстрадную песенку. Фантазеры и мистики, гуляя по берегу моря ясной ночью, бродя по заводям, разглядывая камешки, вопрошали: «Кто я такой?», «Что это такое?» и внезапно удостаивались ответа (хотя и не могли его постигнуть), который согревал их в мороз и дарил утешение в пустыне. Однако миссис Макнаб продолжала выпивать и сплетничать, как и прежде.

6

На полях раскинулась весна без единого листочка, нагая и прекрасная, словно безжалостная в своем целомудрии и презрительная в своей чистоте девственница — с распахнутыми глазами, настороженная и совершенно безразличная к тому, что сделают или подумают наблюдатели. (Прю Рамзи пошла к алтарю под руку с отцом. Подходящая партия, говорили люди. Как красива невеста!)

Близилось лето, вечера становились длиннее, и тех, кому не спится ночами, кто полон надежд, гуляя по берегу, бродя по заводям, будоражили удивительнейшие фантазии — плоть распадается на поток атомов, несущихся быстрее ветра, в сердце сияют звезды, а скалы, облака и небеса сходятся, собирая воедино обрывки видения. И в этом зеркале — в сознании людей, в неспокойных заводях, где кружатся облака и рождаются тени, — жили грезы, и невозможно было устоять перед чудесными знамениями, которые несла каждая чайка, цветок, дерево, мужчина или женщина и сама земля, провозглашая грядущую победу добра, счастья и порядка (но сразу

отступали, стоило спросить, когда же она наступит); или перед непреодолимым побуждением странствовать по миру вдали от тривиальных удовольствий и привычных добродетелей, вдали от совершенно чуждого домашнего быта в поисках абсолютного добра, средоточия мощи, единственного, твердого и сверкающего, словно бриллиант в песке, что дарит своему обладателю неуязвимость. Весна присмирела и смягчилась, прикрыла наготу плащом, вокруг которого жужжали пчелы и вилась мошкара, накинула вуаль, опустила голову и наконец, в мелькании теней и брызг мелкого дождика, прониклась скорбями рода человеческого.

(Тем летом умерла Прю Рамзи, скончавшись от осложнения, связанного с беременностью, — большая трагедия, говорили люди, ведь все в ее жизни складывалось так хорошо.)

И теперь, в разгар лета, ветер вновь послал в дом своих шпионов. Залитые солнцем комнаты зарастали паутиной, по ночам в окна бились высокие сорняки. С наступлением темноты луч маяка, который прежде падал столь непреклонно, заметно смягчился, смешавшись с лунным светом, и скользил потихоньку, любовно лаская узоры на ковре, исчезал, выжидал и появлялся

вновь. Но в самый разгар ласки, когда длинная вспышка света протянулась через кровать, со скалы сорвался камень — еще одна складка шали ослабла и повисла, качаясь. Короткими летними ночами и долгими летними днями, когда в пустых комнатах отражался эхом гул полей и жужжание мух, длинная бахрома плавно развевалась, бесцельно покачивалась, и солнце испещряло комнаты полосами, наполняло их желтой дымкой, так что миссис Макнаб, которая вторглась в дом и шатаясь бродила, то подметая, то подтирая, смахивала на тропическую рыбу, бороздящую залитые солнцем морские глубины.

Несмотря на сонную дремоту и оцепенение, под конец лета раздались зловещие звуки, похожие на размеренные удары огромных молотков по войлоку, которые еще больше ослабили провисшую шаль, раскололи чайные чашки. Время от времени в буфете позвякивала стеклянная посуда, словно от раскатов мощного голоса, вопящего в муках так громко, что стаканы тоже вибрировали. И вновь наступала тишина, и ночь за ночью, а порой и среди бела дня, когда свет падал на стену и розы алели, в этой тишине, в безучастности, в неприкосновенности раздавался грохот падения чего-то тяжелого.

(Взорвался снаряд. Во Франции погибло двадцать или тридцать юношей, среди которых был и Эндрю Рамзи, чья смерть, к счастью, наступила мгновенно.)

В это время года те, кто спускались побродить по берегу и спросить у моря и неба, какое послание или видение им высматривать среди привычных божественных щедрот — закат на море, бледный рассвет, восход луны или рыбацкие лодки на ее фоне, детишек, лепящих куличики из песка или швыряющих друг в друга пригоршни травы, — что-нибудь, выбивающееся из всеобщей гармонии, веселости и безмятежности. К примеру, на горизонте бесшумно возникал пепельно-серый корабль, а потом исчезал, на гладкой поверхности моря всплывало багряни-стое пятно, словно внизу кипит и кровоточит нечто незримое. Столь грубое вмешательство в сцену, созданную, чтобы подтолкнуть к самым возвышенным размышлениям и самым утешительным выводам, замедляло их шаг. Такое трудно проглядеть, переоценить его значимость в общей картине и продолжить прогулку у моря, восхищаясь тем, что красота снаружи отражает красоту внутри.

Дополняет ли природа то, что дает ей человек?

Завершает ли им начатое? С равной снисходительностью взирает она на его невзгоды, слабости и мучения. Неужели мечта о том, чтобы разделять, завершать, находить на берегу ответы — лишь отражение в зеркале, а само зеркало — лишь серебристая поверхность, которая образуется в состоянии покоя, пока высшие силы дремлют в глубине? Нетерпеливому, отчаявшемуся, но не желающему уходить (ибо красота таит соблазны, дарует утешения), больше невозможно гулять по берегу — созерцание становится невыносимым, зеркало разбито.

(Весной мистер Кармайкл опубликовал сборник стихов, имевший неожиданный успех. Война, говорили люди, вернула интерес к поэзии.)

7

Ночь за ночью, летом и зимой, в жестокие шторма и в пронзительной неподвижности ясного неба из верхних комнат пустого дома доносился лишь шум (если бы только нашлось, кому слушать) хаоса, пронизанного молниями; ветра и волны буйствовали, словно исполинские левиафаны, не озаренные светом разума, громоздились друг на друга, выпрыгивали и ныряли во тьме или при свете дня (день и ночь, месяц и год сливались воедино), куражась в идиотских игрищах, пока не начинало казаться, что вселенная борется сама с собой и рушится в диком смятении и буйной похоти.

По весне в садовых вазонах всходили принесенные ветром семена, расцветали фиалки и нарциссы. Неподвижность и яркость дня казались не менее странными, чем хаос и смятение ночи, и цветы глядели перед собой, глядели вверх и не видели ничего — слепые и внушающие ужас.

8

Большого вреда не будет, все равно семья не вернется, никогда не приедет, как говорили некоторые, и дом, вероятно, продадут на Михайлов день, думала миссис Макнаб, сгибаясь нарвать букетик цветов. Она оставила его на столе, пока подметала. Цветы ей нравились. Жаль, пропадают зря. Допустим, дом продадут (она встала перед зеркалом, уперев руки в бока), за ним понадобится присмотр — конечно, понадобится. И так простоял сколько лет без единой души. Книги и вещи заплесневели, ведь из-за войны и без должного ухода дом не убирали как следует. Теперь одной не управиться. Она слишком стара, ноги болят. Книги нужно разложить на траве и просушить на солнце, штукатурка в холле осыпается, водосточная труба над окном кабинета забилась и внутрь натекла вода, ковер совсем испорчен. Но владельцы должны приехать сами, должны прислать кого-нибудь все осмотреть — в шкафах осталась одежда, да и в спальнях тоже. И что теперь с ней делать? В вещах миссис Рамзи завелась моль. Бедная леди! Больше ей ничего не понадобится. Умерла, говорят, причем уже

давно, в Лондоне. Вот старый серый плащ, в котором она садовничала (миссис Макнаб пощупала ткань). Так и стоит у нее перед глазами, бедняжка, склонилась над своими цветами (сад в ужасном запустении, печальное зрелище, кролики так и порскают во все стороны, стоит пройти мимо клумб), и ребенок подле, а сама хозяйка в сером плаще. Вот ботинки и туфли, щетка и расческа на туалетном столике, словно завтра вернется. (Говорят, умерла совсем внезапно.) Однажды хозяева собрались приехать, да отложили из-за войны, ведь путешествовать было сложно; за все годы так и не удосужились, просто посылали деньги, но ни разу не написали, не приехали и надеются застать все в прежнем виде, подумать только! И в ящиках полно всего (миссис Макнаб выдвинула ящики) — и платки, и ленточки. Да, она частенько встречала миссис Рамзи, когда шла по дорожке с выстиранным бельем.

— Добрый вечер, миссис Макнаб, — говорила она.

Приятная была женщина. Все девушки ее любили. Увы, с тех пор многое изменилось (старуха задвинула ящик) — родных потеряли многие. Миссис Рамзи мертва, мистер Эндрю погиб, мисс Прю тоже умерла, говорят, вместе с первенцем, —

за эти годы все кого-нибудь потеряли. Цены неприлично поднялись, да так и не упали. Она хорошо помнила хозяйку в сером плаще.

— Добрый вечер, миссис Макнаб, — говорила она и велела кухарке налить тарелку молочного супа, ведь тащить полную корзину из города тяжело. Так и стоит перед глазами, склонившись над клумбой, — блеклый неверный образ, словно желтый луч или кружок на конце телескопа прошелся по стене спальни, поднялся по туалетному столику, переместился по умывальнику, пока миссис Макнаб ковыляла и семенила по дому, подметая и наводя чистоту. Как звали кухарку? Милдред? Мэриан или вроде того? Забыла, память уже не та. Вспыльчивая такая, как все рыжие. А как они хохотали! На кухне ее всегда привечали. Прежде жилось куда лучше, чем теперь.

Старуха вздохнула — слишком много работы, одной не управиться. Она покачала головой. Здесь была детская. Все отсырело, штукатурка падает. И к чему тут звериный череп? Весь заплесневел. На чердаке полно крыс, крыша протекает. Но хозяева так и не вернулись, даже не написали. Кое-где вывалились замки, двери хлопают. Ей не нравилось оставаться наверху в сумерках. Одной не управиться, слишком, слишком тяжело.

Она скрипела от натуги, она стонала. Наконец захлопнула дверь, повернула ключ и ушла из покинутого дома прочь.

9

Дом покинут, дом обезлюдел. Покинут, словно ракушка на песчаном берегу, которую в отсутствие жильца заполняют соленые крупинки. В нем воцарилась долгая ночь; казалось, неугомонные легкие дуновения, холодные и влажные сквозняки одержали верх. Кастрюля проржавела, ковер сгнил. Внутрь пробрались жабы. Апатично, бесцельно покачивалась шаль. Между плитками кладовой пророс чертополох. В гостиной свили гнезда ласточки, пол усыпали сухие травинки, штукатурка падала кусками, обнажились стропила, крысы тащили что ни попадя и грызли за панелями. Из куколок вылезали бабочки-крапивницы и обреченно бились в оконные стекла. Среди георгинов проросли маки, лужайка покрылась высокой травой, среди роз возвышались огромные артишоки, среди капусты цвела махровая гвоздика; зимними ночами тихое постукивание сорных трав в окна превратилось в барабанную дробь мощных ветвей колючего шиповника, летом заливавшего комнату зеленым светом.

Какая сила могла бы теперь противостоять

плодовитости и равнодушию природы? Греза миссис Макнаб о покойной леди, о ребенке, о тарелке молочного супа? Она пробежала по стенам, словно солнечный зайчик, и исчезла. Старуха заперла дверь и ушла. Одной такое не по силам, сказала она. Рамзи не вернулись, даже не написали. В шкафах гниет одежда — разве можно вот так бросать вещи, удивлялась она. Дом пришел в полное запустение. Только луч маяка проникал в комнаты, пронзая зимнюю тьму и озаряя внезапной вспышкой кровать и стену, невозмутимо глядя на чертополох и ласточку, на крысу и сухие травинки. Ничто им не противилось, ничто не противоречило. Пусть дует ветер, пусть маки всходят, где им угодно, пусть гвоздики растут среди капусты. Пусть ласточки вьют гнезда в гостиной, и чертополох раздвигает плитки, и бабочки садятся на выцветшую обивку кресел. Пусть осколки стекла и фарфора устилают лужайку, зарастая травой и дикими ягодами.

Наступил тот миг, тот переломный момент, когда брезжит рассвет и ночь берет передышку, когда перышко склоняет чашу весов. Одно лишь перышко, и оседающий, распадающийся дом канет в темные глубины. В разрушенной гостиной любители пикников будут греть воду для чая, на

голых досках разлягутся влюбленные парочки, на кирпичах разложит свой обед пастух, завернется в пальто бродяга, спасаясь от холода. Крыша провалится, шиповник и тсуга заплетут дорожку, крыльцо и окно, буйно разрастутся, погребя под собой весь могильный холм, и лишь по алой книпхофии в зарослях крапивы или осколку фарфора серди кустов случайный путник, потерявший дорогу, поймет: когда-то здесь жили люди, когда-то здесь стоял дом.

Если бы перышко упало, склонило чашу весов, то весь дом канул бы в пески забвения. Но вмешалась некая сила, не слишком разумная, пошатываясь заковыляла по комнатам, не желая выполнять свою работу ни с надлежащими ритуалами, ни с торжественными песнопениями. Миссис Макнаб стонала, миссис Баст скрипела от натуги. Обе старые, окостеневшие, с больными ногами. Они явились с щетками и ведрами и приступили к уборке. Совершенно неожиданно написала одна из молодых хозяек: дом понадобился, пусть миссис Макнаб сделает это, пусть сделает то, да поскорее. Могут приехать на лето, откладывали до последнего, надеются застать все как прежде. Медленно и мучительно, с помощью щетки и ведра, выметая и намывая,

миссис Макнаб с миссис Баст остановили разрушение и гниение, спасая из смыкавшейся над ними пучины времени то умывальник, то буфет; утром извлекли из небытия все романы Уэверли и чайный сервиз, после полудня вытащили на свежий воздух медную каминную решетку и приборы к ней. Джордж, сын миссис Баст, переловил крыс и постриг лужайку. Вызвали плотников. Казалось, под скрип петель и скрежет засовов, стук молотков по сырому дереву происходят ржавые, многотрудные роды, и обе женщины сновали по лестнице вверх-вниз, стеная, распевая, прихлопывая и притопывая, метались между чердаком и подвалом. Ох уж эта работа, сетовали они.

Иногда они пили чай в спальне или в кабинете, прерываясь в середине дня — с перепачканными лицами, с натруженными старческими руками, ноющими после швабр. Развалившись в креслах, они рассуждали то о грандиозной победе над кранами и ванной, то еще более изнурительном и далеко не полном триумфе над длинными рядами книг, некогда черных как вороны, теперь же в белых разводах, рассаднике бледной плесени и логове опасливых паучков. Как-то раз, когда горячий чай приятно согревал нутро миссис

Макнаб, телескоп вновь приблизился к ее глазам, и в кольце света она увидела на лужайке пожилого джентльмена, худого как щепка, качающего головой, и она шла мимо с корзиной белья, а он разговаривал сам с собой. Никогда ее не замечал. Одни утверждали, что он умер, другие — что она. Так кто же? Миссис Баст тоже не знала наверняка. Молодой джентльмен точно погиб. Она сама прочла его имя в газете.

Еще была кухарка, Милдред, Мэриан или вроде того — рыжеволосая, вспыльчивая, как все рыжие, зато добрая, если найдешь к ней подход. Как же они хохотали! Она припасала для Мэгги тарелку супа, кусочек ветчины — что останется. Прежде жилось хорошо, всего хватало (весело и подробно, согревшись чаем, она разматывала клубок воспоминаний, сидя у камина в плетеном кресле). Дел по дому тогда было много, народу полно, человек по двадцать гостило, и посуду мыли далеко за полночь.

Миссис Баст (она никого из хозяев не знала, жила тогда в Глазго) поинтересовалась, поставив чашку, чего ради на стену повесили звериный череп? Небось подстрелили где-нибудь в чужих краях?

Очень может быть, кивнула миссис Макнаб,

без удержу предаваясь воспоминаниям, друзья с востока, джентльмены и леди в вечерних туалетах — сама видела, заглянув в гостиную, сидели и ужинали. Человек двадцать, все в драгоценностях, так что ее попросили остаться и помочь с посудой, разошлись далеко за полночь.

Ага, кивнула миссис Баст, и сад теперь не узнать. Она высунулась из окна, посмотрела, как ее сын Джордж подстригает лужайку. Вдруг они спросят, как так вышло? Ведь старик Кеннеди, который присматривал за садом, свалился с телеги и совсем охромел, целый год, почитай, никто не занимался, а потом был Дэйви Макдональд, и семена, может, присылали, да разве кто сажал? Сад теперь не узнать.

Она наблюдала, как сын косит. Настоящий трудяга и тихоня. Что ж, пора приняться за шкафы, заключила она. Старухи потянулись наверх.

Наконец, после стольких дней усилий внутри и снаружи, после обрезки и вырубки, с подоконников смахнули тряпки, окна закрыли, замки заперли, хлопнула входная дверь и все закончилось.

И вот, когда уборка, чистка и косьба утихли, раздалась едва слышная мелодия — прерывистая музыка, которую ухо улавливает и тут же роняет;

лай, блеянье — звуки разрозненные, но так или иначе связанные друг с другом — жужжание насекомого, дрожь подстриженной травы, звуки отдельные и все же сплоченные; скрежет жука-навозника, скрип колеса — громкие, грубые и все же таинственным образом близкие; ухо силится собрать их воедино и всегда ему почти удается, хотя и не до конца, и наконец вечером звуки поочередно умирают, единство распадается, и наступает тишина. С заходом солнца четкость контуров исчезла, тишина разлилась, словно туман, ветер улегся — мир погрузился в сон, стало совсем темно, не считая проблесков света, сочившегося сквозь зелень листвы и белевшего на цветах под окном.

(Однажды поздним сентябрьским вечером в дом вошла Лили Бриско с багажом. Тем же поездом приехал мистер Кармайкл.)

10

И наконец воцарился мир. Призывами к миру дышало море, неся их на берег. Пусть ничто не нарушит сон, пусть покой станет еще глубже, пусть мечтателям снятся безгрешные, мудрые сны — о чем оно там бормочет? — Лили Бриско положила голову на подушку в чистой, тихой комнате и слушала море. В открытое окно доносился глас вселенской красоты, слишком тихий шепот, слов не разобрать — разве это важно, если смысл прост? — упрашивая спящих (дом снова полон, приехала миссис Беквит, мистер Кармайкл тоже) спуститься на берег или хотя бы поднять штору и выглянуть в окно. И они увидят ночь в пурпурных одеждах, в короне, с драгоценным скипетром и взглядом как у ребенка. И если они еще медлят (уставшая с дороги Лили заснула буквально сразу, мистер Кармайкл читал при свече), если еще говорят: нет, ее великолепие — лишь фантазия, у росы больше силы, чем у ночи, и предпочитают спать, то глас споет им нежно, без упреков и возражений. Мягко разбиваются волны (Лили слышала их сквозь сон), ласково струится свет (проникая сквозь веки Лили). И все

выглядит, подумал мистер Кармайкл, закрывая книгу и засыпая, как и прежде.

И в самом деле, мог бы подытожить глас, пока темная завеса укрывала дом, укрывала миссис Беквит, мистера Кармайкла и Лили Бриско, налагая на веки целые слои тьмы, почему бы не уступить и не смириться?

Их успокаивали вздохи моря, мерно бьющегося об острова, их укутывала ночь, их сон ничто не тревожило, пока на рассвете в его белизну не вплелись слабые голоса птиц, скрип телеги, собачий лай, и солнце подняло шторы, разорвало завесу тьмы на веках, и Лили Бриско завороча-лась. Она цеплялась за одеяло, словно падающий со скалы хватается за траву на краю. Глаза ее распахнулись. Я снова здесь, подумала она, резко садясь в кровати. Наяву.

Маяк

1

Какой в этом смысл, какой же во всем этом смысл? — спрашивала себя Лили Бриско, оставшись одна и размышляя, пойти ей на кухню за еще одной чашкой кофе или подождать здесь. Какой в этом смысл? — книжная, набившая оскомину фраза, отчасти созвучная ее мыслям, потому что в первое утро в гостях у Рамзи она никак не могла совладать с чувствами и пыталась прикрыть ею пустоту в голове, пока туман не рассеется. В самом деле, что она чувствует, вернувшись после стольких лет, после смерти миссис Рамзи? Ничего, ничего — ничего такого, что могла бы выразить словами.

Лили приехала вчера затемно, когда все выглядело таинственным. Теперь же она сидела за столом на своем привычном месте, но в одиночестве. Было очень рано, ближе к восьми. Рамзи затеяли экспедицию — Кэм и Джеймс с отцом собрались на маяк. Уже должны бы уехать — спешат поймать прилив или что-то в этом роде. А Кэм не готова, Джеймс не готов, Нэнси позабыла распорядиться насчет сэндвичей, и мистер Рамзи вспылил и выбежал из комнаты, хлопнув

дверью.

— Какой смысл ехать теперь? — горячился он.

Нэнси исчезла. Мистер Рамзи в ярости вышагивал по террасе. По всему дому хлопали двери, раздавались голоса. Вбежала Нэнси и спросила, оглядывая комнату бестолковым, блуждающим, отчаянным взглядом: «Что обычно берут на маяк?», словно заставляла себя делать то, с чем справиться не могла.

И действительно, что берут на маяк? В любое другое время Лили могла бы резонно предположить, что взять следует чай, табак, газеты, но этим утром все казалось настолько чудны́м, что вопрос Нэнси — Что обычно берут на маяк? — распахнул двери сознания, и те хлопали, бились друг о друга, заставляя ошеломленно переспрашивать: Что взять? Что сделать? Зачем вообще здесь сидеть?

Сидя за длинным столом в одиночестве (Нэнси снова ушла) среди чистых чашек, она чувствовала себя отрезанной от других людей и могла лишь наблюдать, задаваться вопросами, недоумевать. Дом, остров, утро — все казалось странным. Нет у нее здесь ни привязанностей, чувствовала Лили, ни связей; может произойти все что угодно, и что бы ни произошло — снаружи раздались

шаги, потом чей-то голос («Не в буфете, ищи на площадке», — крикнул кто-то), — звучало как вопрос, словно нить, связующая предметы воедино, перерезана, и они висят там и тут неприкаянные. До чего все бесцельно, до чего хаотично, до чего нереально, думала она, глядя в пустую чашку. Миссис Рамзи умерла, Эндрю убит, Прю тоже умерла — повторяй сколько угодно, все равно никакого отклика. И все мы сошлись вместе в доме вроде этого утром вроде этого, сказала она себе, глядя в окно. День выдался погожий и тихий.

Проходя мимо, мистер Рамзи внезапно поднял голову и обратил на Лили смятенный, дикий взгляд, в то же время такой проницательный, что вмиг пронзил ее насквозь, словно увидел впервые и навсегда; и она притворилась, что пьет из пустой чашки, чтобы спастись — спастись от домогательств, хоть ненадолго отгородиться от его насущной потребности. Он покачал головой и пошел дальше («Одинок», услышала она, «погиб», услышала она) и, как и все прочее этим странным утром, слова стали символами, начертанными на серо-зеленых стенах. Если бы только удалось собрать их воедино, чувствовала Лили, и составить фразу, открылась бы истинная суть вещей. Мимо прошлепал старик Кармайкл, налил себе кофе,

взял чашку и ушел на солнышко. Нереальность происходящего пугала и будоражила. Экспедиция на маяк. Но что же берут с собой на маяк? Погиб. Одинок. Серо-зеленый свет на противоположной стене. Пустые стулья. Такие разрозненные детали, как собрать их воедино? — спрашивала себя Лили. Любое вмешательство могло разрушить хрупкую конструкцию, выстроенную на столе, и она повернулась спиной к окну, чтобы мистер Рамзи ее не видел. Нужно куда-нибудь уйти, побыть одной. Внезапно Лили вспомнила. Когда она гостила здесь десять лет назад, на столе была какая-то веточка или листок в узоре скатерти, приковавший ее взгляд в момент озарения. Ей не удавался задний план на картине. Передвину дерево в середину, решила тогда она. Картина так и осталась незаконченной. Она напишет ее теперь! Столько лет не давала ей покоя… Интересно, где краски? Да-да, краски. Вчера она оставила их в холле. Сейчас и начнем. Она поскорее поднялась, пока мистер Рамзи не обернулся.

Лили раздобыла стул, со свойственной старой деве аккуратностью установила мольберт на краю лужайки не слишком близко к мистеру Кармайклу и не слишком далеко, чтобы тот мог ее защитить. Да, пожалуй, именно здесь она и

стояла десять лет назад. Вот стена, зеленая изгородь, дерево. Вопрос был в том, как соотносятся массы цвета. Она вынашивала замысел все эти годы. Похоже, решение пришло — теперь она знала, что хочет сделать.

Но под нажимом мистера Рамзи она ничего не могла. Каждый раз, когда он приближался — он ходил взад-вперед по террасе, — на нее надвигалась разруха, хаос. Писать было невозможно. Лили сутулилась, отворачивалась, хватала тряпку, выжимала краски из тюбиков — лишь бы держать его на расстоянии. Из-за него руки опускались. Если дать ему малейший шанс, если он увидит, что она бездействует, смотрит в его сторону, мигом накинется, как прошлым вечером, когда он заявил: «Мы уже совсем не те». Прошлым вечером он встал, подошел к ней и произнес эти слова. Хотя дети сидели молча, тараща глаза, все шестеро, которых прозвали в честь английских королей и королев — Рыжий, Красивая, Злая, Бесщадный, — она ощутила их гнев. Добрая старушка миссис Беквит как-то сгладила неловкость, но в доме кипели подспудные страсти — Лили чувствовала это весь вечер. И в довершение всего мистер Рамзи поднялся, пожал ей руку и сказал: «Мы уже совсем не те», и никто из них не ше-

вельнулся, не заговорил — дети сидели с таким видом, словно их заставили. Только Джеймс (без сомнения Угрюмый) хмуро щурился на лампу, а Кэм наматывала носовой платок на палец. Потом мистер Рамзи напомнил, что завтра они едут на маяк. Ровно в половине восьмого нужно ждать в холле в полной готовности. Взявшись за дверную ручку, он обернулся. Хотят они ехать или нет? — требовательно спросил он. Если бы дети отважились ответить «нет» (очевидно, ему этого хотелось), он бы с трагическим видом бросился в горькие воды отчаяния. У него явная склонность к театральным жестам — прямо король в изгнании. Джеймс угрюмо буркнул «да». Кэм запнулась. Да-да, оба будут готовы, заверили они. Вот она, трагедия, осознала Лили, не гроб, прах и саван, а дети, которых принуждают, дети, павшие духом. Джеймсу шестнадцать, Кэм, видимо, лет семнадцать. Лили огляделась в поисках той, кого здесь не было, — не иначе как миссис Рамзи. Но тут сидела лишь добрая миссис Беквит, перелистывая свои наброски при свете лампы. Уставшая Лили почувствовала, как качается вверх-вниз на волнах, ею овладевали запах и вкус тех мест, где давно не была, свечи задрожали, она утратила себя и ушла под воду. Ночь выдалась чудесная,

звездная, они поднимались наверх под шум моря, в окно на лестничной площадке заглядывала огромная бледная луна. Уснула Лили сразу.

Она решительно водрузила на мольберт чистый холст, словно барьер — хрупкий, но достаточный, надеялась она, чтобы отгородиться от мистера Рамзи и его притязаний. Когда он поворачивался спиной, она изо всех сил старалась смотреть на картину, на линию там, на массу цвета здесь. Увы, тщетно. Пусть он в пятидесяти футах отсюда, пусть не обращается к ней и даже не смотрит, он пропитывает собой все кругом, довлеет над всем, докучает. Он все портит! Лили не видела ни цветов, ни линий; даже когда он отворачивался, Лили могла думать лишь об одном: сейчас накинется, требуя того, что я не могу ему дать. Она забраковала одну кисть, выбрала другую. Когда же дети выйдут? Когда же они отплывут? — нервничала она. Что за человек, думала Лили, начиная закипать, никогда не отдает, лишь берет. А ее вынуждает отдавать. Миссис Рамзи только и делала, что отдавала, потом умерла, и все. На самом деле она злилась на миссис Рамзи. Кисть слегка дрожала в руке, Лили смотрела на изгородь, на окно, на стену. Во всем виновата миссис Рамзи! Взяла и умерла, и

теперь Лили, в свои сорок четыре, теряет время зря, ни на что она не способна, просто стоит и играет в художника, и во всем виновата миссис Рамзи! Умерла. Окно, в котором она любила сидеть, опустело. Умерла.

Зачем повторять снова и снова? Зачем пытаться пробудить в себе чувство, которого не испытываешь? Немного отдает кощунством. Все усохло, захирело, иссякло. Им не следовало ее приглашать, ей не следовало приезжать. В сорок четыре года нельзя терять время, подумала Лили. Она терпеть не могла играть в художника. Кисть — единственная надежная вещь в мире раздоров, разрухи, хаоса — играть с ней нельзя, даже сознательно — она этого не выносила. Но мистер Рамзи ее заставил. Не прикасайся к холсту, словно говорил он, надвигаясь, пока не дашь мне то, что я хочу. Вот и он, снова приближается, ненасытный и безутешный. Ладно, подумала Лили, безвольно опуская руку, проще отдаться.

Наверняка у нее получится изобразить то сияние, восторженность, беззаветную преданность, которую Лили доводилось видеть на многих женских лицах (к примеру, миссис Рамзи), когда те в схожей ситуации вспыхивали восторгом сочувствия, предвкушением награды, дарующей

высшее блаженство, доступное человеку. Причин ей никогда не понять, но она помнила выражение лица миссис Рамзи. Вот и он, остановился рядом. Она даст ему, что может.

2

С годами слегка усохла, подумал мистер Рамзи. Слишком хрупкая и щуплая, хотя по-своему привлекательна. Лили ему нравилась. Помнится, одно время ходили разговоры о том, что они с Уильямом Бэнксом поженятся, но ничего не получилось. Жена ее любила. За завтраком он был немного не в духе, а потом — потом накатил один из тех моментов, когда настоятельная необходимость, в которой он сам не отдавал себе отчета, вынуждала его кидаться к любой женщине и любыми средствами добиваться своего — сочувствия.

О ней хорошо позаботились? — спросил он. Что-нибудь еще нужно?

— Конечно, спасибо, нет, — нервно ответила Лили Бриско. Увы, ничего не выходит. Ей следовало незамедлительно окунуться с головой в волну всепоглощающего сочувствия — давление было колоссальным. Но она застыла как вкопанная. Повисла ужасная пауза. Оба смотрели на море. Зачем, думал мистер Рамзи, смотреть на море, если есть я? Она надеется, что будет достаточно спокойно, чтобы они смогли высадиться у маяка.

Маяк! Маяк! При чем тут маяк?! — думал он с досадой. Внезапно, поддавшись поистине первобытному порыву (он и в самом деле больше не мог сдерживаться), мистер Рамзи исторг такой стон, что любая женщина кинулась бы что-то делать, что-то непременно сказала бы — любая, кроме меня, подумала Лили, ужасно себя укоряя, ведь я, по-видимому, не женщина, а желчная, иссохшая старая дева со скверным характером.

Мистер Рамзи вздохнул полной грудью. Подождал. Неужели ничего не скажет? Неужели не видит, что именно ему нужно? И он признался, что хочет отправиться на маяк не просто так. Жена посылала туда вещи. Там был несчастный мальчик с туберкулезом бедра, сынишка смотрителя. Он вздохнул глубоко, многозначительно. Все, о чем мечтала Лили, — лишь бы громадный поток скорби, неуемная жажда сочувствия, требование к безоговорочной капитуляции на веки вечные (печалей у него хватало в избытке) как-нибудь ее миновали, отвлекшись на другого (она поглядывала на дом в надежде, что их прервут), иначе ее сметет.

— Подобные вылазки, — заметил мистер Рамзи, ковыряя землю носком ботинка, — весьма тягостны. — Лили снова промолчала. (Скала, камень,

сказал он про себя.) — И весьма утомительны, — добавил он, разглядывая свои красивые руки с такой тоской, что Лили замутило (играет роль, почуяла она, великий человек устраивает спектакль). До чего противно и непристойно! Неужели они никогда не придут, думала она, не в силах нести громадный груз чужих страданий, поддерживать тяжелый покров скорби (он принял позу полной старческой немощи, даже слегка затрясся) ни секунды дольше.

Лили так ничего и не сказала, словно до самого горизонта не нашлось ни одного подходящего предмета для разговора, она могла лишь изумленно ощущать, как взгляд стоящего рядом мистера Рамзи горестно упал на залитую солнцем траву и обесцветил ее, набросил траурный флер на румяного, сонного, вполне довольного собой мистера Кармайкла в шезлонге, читающего французский роман, — подобное существование, выставляющее напоказ свое благополучие в мире скорби, будило в нем самые мрачные мысли. Посмотрите на него, всем своим видом говорил мистер Рамзи, и посмотрите на меня; и действительно, в этот миг он горел лишь одним желанием: Думайте обо мне, думайте обо мне! Эх, если бы только эту тушу удалось передвинуть к нам, сетовала про себя

Лили, если бы только она поставила мольберт на пару ярдов ближе — мужчина, любой мужчина положил бы конец его излияниям, прервал бы его сетования. Будучи женщиной, она и спровоцировала этот ужас, будучи женщиной, она должна знать, как с ним справляться. Стоять и молчать означало опозорить весь женский род! Следовало сказать — что там говорят в таких случаях? — Ах, мистер Рамзи! Дорогой мистер Рамзи! Добрая пожилая леди, которая рисует эскизы, миссис Беквит, мигом бы так и сделала, и совершенно правильно. Но только не Лили. Они стояли, оторванные от всего мира. Его запредельная жалость к себе, потребность в сочувствии хлестали потоком, собираясь в лужи, и все, что могла поделать Лили, несчастная грешница, подобрать юбки чуть повыше голеней, чтобы не замочиться. Она стояла в полном молчании, сжимая кисть.

Хвала небесам — в доме раздался шум. Наверное, Джеймс с Кэм идут. И мистер Рамзи, словно зная, что время его на исходе, навалился на ее хрупкую фигурку всем грандиозным весом своего густейшего горя, старости, немощи, одиночества, и вдруг в порыве досады — в конце концов, какая женщина способна перед ним устоять? — нетерпеливо тряхнул головой и заметил, что у

него развязаны шнурки. Превосходные ботинки, подумала Лили, опустив взгляд: рельефные, массивные и, как и все, что носит мистер Рамзи, начиная с потертого галстука и заканчивая наполовину расстегнутым жилетом, безусловно, несут на себе отпечаток его личности. Ей так и виделось, что они шагают в кабинет сами по себе, даже в отсутствие хозяина полные его пафоса, угрюмости, дурного нрава, обаяния.

— Какие красивые ботинки! — воскликнула Лили и устыдилась. Восхищаться ботинками, когда он жаждет утешения для души, когда он показал ей свои кровоточащие руки, свое израненное сердце и просит их пожалеть, а она радостно принялась хвалить ботинки — это заслуживает, как она понимала и уже предвкушала заодно с внезапной вспышкой гнева, полного уничтожения.

Вместо этого мистер Рамзи улыбнулся, стряхнув гробовые покровы, траурные одежды и немощь. О да, сказал он, поднимая ногу повыше, чтобы она посмотрела, ботинки первоклассные. На всю Англию лишь один человек способен сшить такие. «Ботинки — в числе главных проклятий человечества! — воскликнул он. — Обувщики только и знают, что калечить и истязать людские ноги». Они же самые несговорчивые и амораль-

ные представители человечества. Лучшие годы юности ушли у него на то, чтобы ботинки ему шили так, как должно. Пусть убедится (он поднял правую ногу, затем левую), что ботинок такой формы ей видеть не доводилось. И кожа на них пошла лучшая в мире, не какая-нибудь крашеная бумага и картон. Он благодушно взирал на свою задранную ногу. Мы достигли, почувствовала Лили, солнечного острова, где царит мир, где правит душевное равновесие и всегда светит солнце, — благословенного острова хороших ботинок. На сердце у нее потеплело. «Теперь посмотрим, умеете ли вы завязывать узлы», — усмехнулся мистер Рамзи. Он отмахнулся от ее несовершенного метода и показал собственное изобретение. Если узел правильный, точно не распустится. Трижды он завязывал ей туфлю, трижды развязывал.

Почему она должна терзаться сочувствием к нему в самый неподходящий момент? Когда он склонился над ее туфлей, Лили тоже наклонилась, к лицу прилила кровь, и она настолько устыдилась своей бессердечности (про себя она назвала его комедиантом), что от вскипевших слез защипало глаза. Занятый прозаическим делом мистер Рамзи пробудил в ней безграничное сострадание. Он завязывает шнурки, покупает

ботинки. В этом одиноком путешествии ему ничем не поможешь… Но едва ей захотелось что-нибудь сказать, едва она решилась, как на террасе появились Кэм с Джеймсом. Идут бок о бок, еле переставляя ноги, — серьезная, меланхоличная парочка.

Почему они идут с таким видом? — рассердилась Лили, ведь могли бы глядеть повеселей, могли бы дать ему то, что из-за них не успела она. Внезапно Лили ощутила пустоту, разочарование: сочувствие пробудилось слишком поздно, он больше в нем не нуждался. Мистер Рамзи обратился в весьма презентабельного пожилого джентльмена, который не испытывал в ней ни малейшей нужды. Ее отвергли. Он повесил на плечи рюкзак, раздал свертки (их было много, небрежно упакованных в оберточную бумагу), отправил Кэм за плащом. Вылитый глава экспедиции, отдающий последние распоряжения. Затем, развернувшись, зашагал по дорожке твердой военной походкой в своих чудесных ботинках, с бумажными свертками в руках, а дети потянулись следом. Все выглядит так, думала Лили, будто судьба предназначила им суровое испытание, и они идут ему навстречу, достаточно юные, чтобы тащиться в кильватере за отцом

послушно, с поблекшими глазами, словно молча переживают испытание не по годам. И вот они прошли по краю лужайки, и Лили показалось, что она наблюдает за процессией, движимой общим чувством, которое связывает воедино эту маленькую компанию, какой бы нескладной и поникшей та ни была, и придает ей необычайную трогательность. Учтиво, но очень отстраненно мистер Рамзи поднял руку и помахал на прощание.

Какое лицо! — подумала она, немедленно ощутив, как жаждет проявиться непрошеное сочувствие. Что же сделало его таким? Вероятно, размышления по ночам — о реальности кухонных столов, добавила она, припомнив поразительную метафору, которую пытался ей растолковать Эндрю. (Погиб мгновенно, убитый осколком снаряда, вспомнила она.) Кухонный стол — нечто иллюзорное, аскетичное, нечто голое, твердое, без всяких украшений. В нем нет цвета, сплошь углы да края, он непоколебимо прост. Тем не менее мистер Рамзи глаз с него не сводил, не позволял себе отвлекаться или впадать в заблуждение, пока лицо его не стало потрепанным, созерцательным и не приобрело налет той же красоты без излишеств, столь глубо-

ко ее поразившей. Затем, вспомнила Лили, стоя с кистью в руках там же, где он ее оставил, лицо избороздили страдания уже не столь возвышенные. Наверняка его посещали сомнения по поводу стола, предположила Лили, реален тот или нет, стоит ли затраченного времени, возможно ли вообще доискаться до истины. У него бывали сомнения, поняла она, иначе бы он не требовал от людей столь многого. Так вот о чем они беседовали по ночам, и на следующий день миссис Рамзи выглядела уставшей, а Лили раздражалась на него из-за какой-нибудь ерунды. Теперь ему не с кем беседовать о столе, ботинках или узлах; он рыщет словно лев, прикидывая, кого бы сожрать, и на лице печать отчаяния, он переигрывает — вот что ее встревожило и заставило спасаться, подхватив юбки. А затем, вспомнила Лили, он внезапно оживился, заблистал (ведь его ботинки похвалили), воспрянул к жизни и проявил интерес к простым человеческим вещам, потом прошло и это (он постоянно меняется и ничего не скрывает), перейдя в финальную фазу, которая была для нее новой и заставила устыдиться своей раздражительности, когда он вроде бы отбросил тревоги и притязания, надежду на сочувствие и жажду похвалы, подавшись в иную

сферу, увлекся, словно из любопытства, безмолвным разговором то ли с самим собой, то ли еще с кем, шествуя во главе маленькой процессии, вне пределов досягаемости. Удивительное лицо! Хлопнула калитка.

3

Все-таки ушли, вздохнула Лили, одновременно испытав облегчение и разочарование. Собственное сочувствие вернулось к ней, словно распрямившаяся ветка терновника хлестнула по лицу. Лили ощущала странную раздвоенность: часть ее тянуло туда — в безветренный день, где море в дымке, и расстояние до маяка кажется огромным, а часть прочно, цепко обосновалась тут, на лужайке. Она посмотрела на холст — тот парил перед ней в своей непреклонной белизне, холодным взглядом упрекая за спешку и нервозность, за глупость и пустую трату эмоций, решительно призывал обратно и затопил ее сознание сначала покоем, и беспорядочные чувства (мистер Рамзи ушел, ей стало его жаль, но она ничего не сказала) покинули поле боя, а затем пустотой. Она беспомощно посмотрела на непреклонную белизну холста, перевела взгляд на сад. Кое-что было (Лили стояла, сощурив узкие китайские глазки на маленьком личике), кое-что ей запомнилось в соотношении линий, разрезающих холст посередине, разбивающих пространство надвое, и в массиве живой изгороди с ее зеленой пещерой,

намеченной голубыми и коричневыми мазками, кое-что застряло в сознании, завязало узелок, и время от времени, шагая по Бромптон-роуд или расчесывая волосы, она невольно ловила себя на том, что мысленно пишет ту самую картину, скользит по ней взглядом и распутывает узел в своем воображении. Однако между отвлеченными размышлениями вдали от холста и первым реальным мазком кисти — целая пропасть.

Взбудораженная присутствием мистера Рамзи, она схватила не ту кисть и воткнула мольберт в землю не под тем углом. Теперь, когда она все исправила, тем самым подавив нахальство и неуместность, которые отвлекали внимание и заставляли вспоминать, что она за человек и в каких отношениях с другими людьми, Лили занесла руку над холстом и замерла, дрогнув в болезненном и все же приятном возбуждении. Где начать? — вот в чем вопрос. Одна-единственная линия на холсте подвергает художника бесчисленным рискам, обрекает на многократные и бесповоротные решения. Все то, что в теории кажется простым, на практике становится сложным: с вершины скалы волны выглядят ровными и симметричными, а пловцу приходится преодолевать буруны и пенистые гребни. И все же

придется рискнуть, коснуться кистью холста.

Испытывая странное ощущение, будто ее что-то подталкивает вперед и в то же время вынуждает держать себя в руках, Лили решительно и быстро провела первую линию. Кисть опустилась. На белом холсте вспыхнул коричневый мазок, оставив яркий след. Второй взмах, третий. То медля, то водя кистью, она вошла в легкий, танцующий ритм, словно паузы — один его элемент, а мазки — другой, и они взаимосвязаны; и так, беззаботно и стремительно, то замирая, то водя кистью, она покрывала холст нервными коричневыми линиями, которые не успокоились, пока не замкнули пустое пространство (Лили чувствовала, как оно надвигается). Внизу, у подножия волны она увидела над собой следующую, и та вздымалась все выше и выше. До чего же оно громоздкое, это пространство! И вот опять, подумала Лили, отступая и разглядывая холст, она вырвана из досужих разговоров, из жизни, из людского общества и стоит перед лицом давнего грозного врага — другой правды, другой реальности, внезапно ее захватившей, которая возникла на заднем плане и завладела ее вниманием. Лили подчинялась неохотно, через силу. Зачем ее вообще выдергивать? Почему не оставить в покое, не дать

поболтать на лужайке с мистером Кармайклом? В любом случае подобная форма общения слишком обременительна. Другие объекты поклонения довольствуются малым — мужчины, женщины, Бог — преклоняй колена, и все; а форма, где даже очертания белого абажура на лампе, освещающей плетеный столик, побуждают человека к вечной борьбе, вызывают на поединок, в котором он обречен на поражение. Всегда (Лили не знала, то ли это присуще лишь ее натуре, то ли всему женскому роду) перед тем, как променять текучесть жизни на сосредоточенность живописи, она несколько мгновений ощущала себя нагой, словно нерожденная душа, душа без тела, колеблющаяся на продуваемой всеми ветрами вершине и беззащитная под порывами всевозможных сомнений. Тогда зачем ей это нужно? Она посмотрела на холст, слегка исчерченный бегущими линиями. Картину повесят в спальне для слуг, скатают в рулон и сунут под диван. Тогда зачем вообще писать, и ей послышался голос, твердящий, что она не способна рисовать, не способна творить, словно ее захватило одно из тех привычных течений, что после определенного времени формирует в сознании опыт, и человек повторяет слова, больше не отдавая себе отчета,

кто их произнес изначально.

Не способна рисовать, не способна творить, бормотала она монотонно, судорожно продумывая план атаки. Масса светилась перед нею, выпирала, давила на глазные яблоки. Затем, словно самопроизвольно выделилось немного сока, необходимого для смазки ее таланта, Лили начала осторожно нырять то в синий пигмент, то в умбру, двигая кистью туда-сюда, но теперь движения стали более тяжелыми и медленными, подчиняясь ритму, диктуемому ей (она поглядывала то на изгородь, то на холст) тем, что она видит, и, хотя рука ее трепетала, полная жизни, ритм был достаточно силен, чтобы увлекать за собой, подчиняя своей скорости. Разумеется, она утратила связь с окружающим миром, а вместе с ним позабыла свое имя, личность и внешность, позабыла, рядом мистер Кармайкл или нет, и сознание продолжало извергать из своих глубин эпизоды, имена, фразы, воспоминания и идеи подобно фонтану, бьющему над этим ослепительным, отвратительно трудным белым пространством, пока она задавала ему форму зелеными и синими мазками.

Так любил говорить Чарльз Тэнсли, вспомнила она: женщины не способны рисовать, не

способны творить. Подкрадывался сзади, чего она терпеть не могла, и стоял над душой, пока она писала картину на этом самом месте. «Табак низшего сорта, — пояснял он, — пять пенсов за унцию», бравируя своей нищетой, своими принципами. (Война несколько смягчила ее язвительность. Бедолаги, думала она теперь и о мужчинах, и о женщинах, бедолаги.) Вечно носил под мышкой книгу, вроде фиолетовую. Так сказать, «работал». Лили помнила, как он усаживался поработать на солнцепеке. За обедом Тэнсли загораживал ей весь вид из окна. В итоге произошел тот знаменательный случай на пляже. Такое не забывается! Утро выдалось ветреным, и все пошли на пляж. Миссис Рамзи устроилась возле скалы писать письма. Все писала и писала. «Поди-ка! — восклицала она, глядя, как что-то плывет по волнам. — Это ловушка для омаров? Или перевернутая лодка?» Зрение у нее было такое слабое, что сама она разглядеть не могла, и вдруг Чарльз Тэнсли сделался любезен, как никогда. Затеял игру в утки и селезни. Они подбирали плоские черные камешки и пускали скакать по волнам. Время от времени миссис Рамзи смотрела на них поверх очков и смеялась. Лили не помнила, о чем говорили, но им

с Чарльзом было весело бросать камешки, они внезапно поладили, и миссис Рамзи за ними наблюдала. Лили чувствовала на себе ее взгляд. Миссис Рамзи, подумала она, отступая на шаг и щурясь. (Когда она сидела на ступеньках с Джеймсом, менялась вся картина. Там нужна тень.) Вспоминая себя и Чарльза, играющих в утки и селезни, да и всю сценку на пляже, Лили заподозрила, что все каким-то образом зависело от миссис Рамзи, сидевшей у скалы с блокнотом на коленях и писавшей письма. (Она строчила их без счета, и ветер уносил страничку-другую, а они с Чарльзом бежали отнимать их у моря.) Что за сила заключена в душе человека! — подумала Лили. Женщина, которая сидела у скалы и писала, умела все уладить, устроить так, что гнев, раздражение спадали ворохом старого тряпья, соединяла одно с другим и из жалкой глупости и неприязни (Лили с Чарльзом ссорились, препирались, вели себя глупо и озлобленно) рождалось нечто иное — взять, к примеру, эпизод на пляже, исполненный дружбы и приязни, — что уцелело, пережило все эти годы, и она смогла погрузиться в воспоминание, которое сохранилось в памяти и вызвало отклик почти такой же, как произведение искусства.

Как произведение искусства, повторила она, переводя взгляд с холста на ступени гостиной и обратно. Нужно минутку отдохнуть. И отдыхая, рассеянно переводя взгляд с одного на другое, Лили задалась старым вопросом, который постоянно витал в небесах ее души, вопросом обширным и привычным, склонным вникать в подробности в те моменты, когда она давала волю сдерживаемым творческим порывам; вопрос висел над ней, медлил, закрывал своей тенью. В чем смысл жизни? Вот и все, простой вопрос, с годами, как правило, сводившийся к одному. Великое откровение так и не пришло. Пожалуй, великое откровение и не придет. Вместо него — маленькие ежедневные чудеса, озарения, вспыхивающие во мраке спички, вот как сейчас. Одно, другое и третье, они с Чарльзом, и волна разбивается о берег, миссис Рамзи сводит их вместе, миссис Рамзи говорит: «Замри, жизнь», миссис Рамзи превращает мгновенье в вечность (как в другой сфере Лили сама пытается превратить мгновенье в вечность) — такова природа откровения. Посреди хаоса есть форма, беспрерывно текучее и мимолетное (она посмотрела на пробегающие облака и мятущиеся листья) застывает, обретая постоянство. Замри, жизнь,

говорила миссис Рамзи. Миссис Рамзи! Миссис Рамзи! — воскликнула Лили. И всем этим она обязана ей.

Кругом стояла тишина. Все замерло. Лили смотрела на спящий в лучах утреннего солнца дом, на зелено-голубые отражения листвы в окнах. Казалось, расплывчатые раздумья о миссис Рамзи созвучны притихшему дому, легкой дымке, прекрасному утреннему воздуху. Расплывчатый и нереальный, поразительно чистый и волнительный. Она надеялась, что никто не откроет окно или не выйдет из дома, и ей удастся подумать в одиночестве над картиной. Она повернулась к холсту, но, поддавшись непонятному любопытству, движимая нерастраченным сочувствием, дошла до края лужайки, чтобы посмотреть, не видно ли, как на берегу маленькая компания отправляется в плаванье. Далеко внизу, среди крошечных лодок, иные из которых шли со свернутыми парусами, иные двигались медленно, потому что стояла тишь, виднелась одна, забравшаяся довольно далеко. На ней как раз поднимали парус. Лили решила, что там, в далекой и совершенно беззвучной лодочке вместе с Кэм и Джеймсом сидит мистер Рамзи. Вот подняли парус, тот сперва провис, потом надулся, и лодочка

уверенно направилась в открытое море.

4

Паруса хлопали над головой, вода фыркала и билась о борта неподвижно дремавшей на солнце лодки. Иногда паруса колыхались от легкого ветерка, потом снова опадали. Лодка вообще не двигалась. Мистер Рамзи сидел в середине. Еще немного, и он потеряет терпение, подумал Джеймс, и Кэм тоже, глядя на отца, севшего между ней и братом (Джеймс правил, Кэм устроилась на носу), плотно сплетя ноги. Он терпеть не мог терять время зря. Как и следовало ожидать, поерзав пару секунд, он бросил что-то резкое мальчишке Макалистера, тот достал весла и начал грести. Но они знали, что отец не успокоится, пока лодка не пойдет полным ходом. Он будет выискивать бриз, ерзать, бормотать себе под нос, Макалистер с сыном его, конечно, услышат, и Кэм с Джеймсом станет ужасно неловко. Он вынудил их поехать, буквально заставил. Оба злились и уповали лишь на то, что ветер не поднимется и поездка сорвется, раз уж он вынудил их поехать против воли.

Всю дорогу до берега они молча тащились позади, хотя отец их и поторапливал: «Поживей, поживей!» Оба шли, опустив головы, словно под

гнетом безжалостного шквала. Что ему скажешь? Они должны идти, должны следовать за ним, должны нести бумажные свертки. Но на ходу они безмолвно поклялись поддерживать друг друга и соблюсти великий пакт — бороться с тиранией не на жизнь, а на смерть. Так они и сидели на противоположных концах лодки в полном молчании. Ничего не говорили, лишь поглядывали на отца время от времени, а он сплетал ноги, хмурился и ерзал, плевался и фыркал, бормотал себе под нос и с нетерпением ждал ветра. Кэм с Джеймсом надеялись на штиль. Они надеялись, что отец потерпит поражение, поездка сорвется и они вернутся на берег.

Но когда мальчишка Макалистера немного выгреб от берега, паруса медленно надулись, лодка набрала скорость, выровнялась и рванула вперед. Словно сбросив незримый груз, мистер Рамзи мигом выпрямил ноги, достал кисет, что-то пробурчал и протянул его Макалистеру, вполне довольный собой, несмотря на все их страдания. Теперь придется плыть часами, и мистер Рамзи наверняка станет расспрашивать старика Макалистера про шторм, случившийся прошлой зимой, и старик примется за рассказ, и оба раскурят трубки, и Макалистер будет вертеть

в руках просмоленную веревку, развязывая или завязывая узлы, и мальчишка будет рыбачить и помалкивать. Джеймсу придется глаз не спускать с паруса. Если отвлечется, парус сморщится и задрожит, лодка замедлит ход, и мистер Рамзи резко бросит: «Не зевай! Не зевай!», и старик Макалистер задумчиво обернется. Так и вышло: отец задал вопрос о шторме, разразившемся на прошлое Рождество. «Судно огибает мыс», — говорил старик Макалистер, описывая страшную бурю, когда десяти судам пришлось искать укрытия в бухте, и он видел одно — там, другое — там, третье — вон там (он медленно указывал в разные места бухты, и мистер Рамзи следил за его рукой, поворачивая голову). Четверо матросов вцепились в мачту, а потом судно пошло ко дну. «И наконец нам удалось ее вывести», — продолжал старик (сквозь свою злобу и молчание Кэм с Джеймсом улавливали лишь отдельные слова, сидя на противоположных концах лодки, объединенные пактом — бороться с тиранией не на жизнь, а на смерть). Наконец им удалось вывести спасательную шлюпку, спустив ее на воду, и пройти за мыс — вещал Макалистер и, хотя Кэм с Джеймсом улавливали лишь отдельные слова, они подмечали, как отец подается вперед, как

вплетает свой голос в унисон с голосом Макалистера, как, попыхивая трубкой, смотрит, куда указывает Макалистер, и смакует подробности. Ему нравилось, что посреди ночи мужчины трудятся до седьмого пота на открытом всем ветрам берегу, напрягая мышцы и ум в противостоянии стихии, ему нравилось, что мужчины заняты делом, а женщины занимаются домом и бдят возле спящих детей, пока мужчины гибнут там в шторм. Джеймс это понимал, и Кэм тоже (они смотрели на отца, они смотрели друг на друга) по его волнению, напряженности, звенящему голосу и легкому шотландскому акценту, который вдруг у него прорезался, благодаря чему отец и сам стал походить на сельского жителя, когда расспрашивал Макалистера про одиннадцать судов, искавших спасения в бухте. Три затонули.

Он горделиво смотрел, куда указывает Макалистер, и Кэм подумала, гордясь им сама не зная почему, что он и сам спустил бы спасательную шлюпку, добрался бы до места крушения, доведись ему там оказаться. Отец такой храбрый, так любит приключения, думала Кэм, и вдруг вспомнила про пакт — бороться против тирании не на жизнь, а на смерть. Обида лежала на детях тяжким бременем. Их заставили, им велели

подчиниться. Этим погожим утром отец снова подавил их волю своим занудством и авторитетом, вынудил подчиниться, потому что ему захотелось, чтобы они поехали с кучей свертков на маяк, приняли участие в обряде в память об умерших, который он совершает ради собственного удовольствия; им это претило, и они едва тащились за ним следом — все удовольствие от погожего дня было испорчено.

Ветерок приятно освежал. Лодка кренилась, разрезая волну, вода падала зелеными каскадами, пузырилась, струилась. Кэм всматривалась в пену, в море со всеми его сокровищами, и скорость ее завораживала, связь между ней и братом понемногу ослабевала. Она начала думать: как быстро идет лодка, куда мы идем? — и движение ее завораживало, в то время как Джеймс мрачно правил, не сводя глаз с паруса и горизонта. Он начинал думать, что мог бы спастись, мог бы все бросить. Куда-нибудь они пристанут, и тогда он будет свободен. Брат с сестрой переглянулись и испытали чувство освобождения и восторг, навеянный скоростью и переменой обстановки. Но ветерок вызвал те же чувства и в мистере Рамзи, и, когда старик Макалистер повернулся, чтобы закинуть удочку, он громко прокричал:

— Мы гибли, каждый в одиночку! [8] — А потом, как обычно устыдившись или смутившись, взял себя в руки и махнул в сторону берега.

— Взгляни на домик, — сказал он, желая, чтобы Кэм посмотрела. Она неохотно подняла взгляд. Который же? Она не могла различить, какой из домиков на склоне горы был их. Все выглядели чужими, мирными и незнакомыми. Несмотря на небольшое расстояние, пройденное ими, берег преобразился, казался далеким и призрачным, словно они уже не были его частью. Где же их дом? Кэм не нашла.

— Но бездна, поглотившая меня, — прошептал мистер Рамзи. Он нашел домик и увидел в нем себя, гуляющего по террасе в одиночестве. Он расхаживал взад-вперед между вазонами и казался себе очень старым и согбенным. Сидя в лодке, он понурился, скорчился, вмиг входя в роль — роль безутешного, всеми покинутого вдовца, и призвал толпы сочувствующих, разыграл, сидя в лодке, маленькую трагедию, требовавшую от него старческой немощи, упадка сил и глубокой скорби (мистер Рамзи воздел руки и убедился, что они достаточно худые), и женское сочув-

[8] Примечания: 8

Здесь и далее мистер Рамзи цитирует стихотворение «Смытый за борт» Уильяма Купера (1731–1800).

ствие хлынуло потоком, он представлял, как его утешают, и, насытившись в мечтах тенью изысканного удовольствия, которое даровало ему женское сочувствие, вздохнул и произнес нежно и печально:

Но бездна, поглотившая меня,
Была страшнее, чем его ждала,

и его скорбные слова четко расслышали все присутствующие. Кэм так и подпрыгнула. Это ее потрясло, даже разгневало. Отец смутился и воскликнул «Глядите! Глядите!» столь требовательно, что Джеймс повернул голову и посмотрел через плечо на остров. Посмотрели все. Все они посмотрели на остров.

Но Кэм не видела ничего. Она думала, что дорожки и лужайка, где они играли в детстве, исчезли, остались в прошлом, они нереальны, а реальны только лодка и парус с заплаткой, Макалистер с серьгами, шум волн — вот что теперь реально. Думая об этом, она бормотала вполголоса: «Мы гибли, каждый в одиночку», и отцовская фраза всплывала в сознании снова и снова, пока он не заметил ее странный взгляд и не начал подтрунивать над ней. Разве она не знает, где какая сторона света? Не может отличить север от

юга? Неужели думает, что они живут прямо там? И он снова указал, где находится их дом — вон у тех деревьев. Ему хотелось, чтобы дочь была более прилежной, и он спросил: «Скажи мне, где восток, где запад?» Спросил, наполовину смеясь, наполовину ругая, потому что не мог понять душевного состояния человека, если только он не слабоумный, который не умеет различать стороны света. И все же она не умела. Увидев, как Кэм таращится застывшим взглядом, теперь довольно испуганным, туда, где дома нет, мистер Рамзи позабыл про свои грезы, позабыл, как расхаживал взад-вперед по террасе между вазонами, как к нему тянулись женские руки. Он подумал, что женщины всегда такие, их ум безнадежно замутнен; он никогда не мог понять почему, но это факт. То же самое было и с его женой. Ни на чем они не способны сосредоточиться! И все же зря он на нее рассердился, более того, разве не за это он любит женщин? В подобной зыбкости есть свое очарование. Я заставлю ее улыбнуться, подумал он. Такая испуганная, такая притихшая. Он сжал пальцы и решил, что голос, лицо и быстрые выразительные жесты, которые столько лет вынуждали людей жалеть его и восхвалять, должны ему подчиниться. Он заставит ее улыбнуться.

Придумает что-нибудь простое, непринужденное. Но что же? Он настолько погрузился в свои труды, что позабыл, как это делается. Щенок. У них теперь есть щенок. Интересно, кто сейчас присматривает за щенком? — спросил он. Да, подумал Джеймс без тени жалости, глядя на голову сестры на фоне паруса, теперь она поддастся. Я останусь с тираном один на один. Выполнять обязательства по пакту придется мне. Кэм не сможет бороться против тирании не на жизнь, а на смерть, мрачно подумал он, наблюдая за ее лицом — печальным, угрюмым, покладистым. И как порой случается, когда туча опускается на зеленый склон горы и давит на него всей тяжестью, в окрестных горах воцаряется мрак и печаль, словно они задумываются над участью затемненного собрата, либо испытывая жалость, либо злорадствуя над его смятением, так и Кэм словно очутилась под тучей, сидя среди спокойных, решительно настроенных людей и гадая, что ответить отцу про щенка, как противостоять уговорам — прости меня, люби меня, в то время как Джеймс-законотворец, сидевший с раскрытыми скрижалями вечной мудрости на коленях (рука брата на румпеле стала для нее символом), говорил: не уступай, борись с ним! Правильно

сказано, справедливо. С тиранией нужно бороться до конца, думала Кэм. Из всех человеческих качеств больше всего она почитала справедливость. Брат ее был самым богоподобным, отец — самым смиренным из смертных. Кому же из двоих уступить, думала она, сидя между ними и глядя на берег, где смешались стороны света, где канула терраса с домом, где наступил покой.

— Джаспер, — угрюмо ответила Кэм. Он присмотрит за щенком.

А как она собирается его назвать? — продолжал наседать отец. В детстве у него был пес по кличке Шалун. Уступит, подумал Джеймс, наблюдая, как на лице сестры появляется знакомое выражение. Так женщины смотрят на свое вязанье или еще на что-нибудь, потом внезапно поднимают взгляд. Он вспомнил блеск голубых глаз, затем та, что с ним сидела, рассмеялась и сдалась, чем ужасно его рассердила. Наверное, то была мать, вспомнил он, сидевшая в невысоком кресле, а отец стоял над ней. Джеймс принялся перебирать бесконечную череду воспоминаний, которые время плавно и непрерывно складывало в его мозг листок за листком, складка за складкой, порылся среди запахов, звуков, голосов грубых, глухих, нежных, мелькания огней и стука швабр,

шума прибоя, и добрался до мужчины, который вышагивал взад-вперед и вдруг резко остановился напротив них, прямой как кинжал. Тем временем, заметил он, Кэм опустила пальцы в воду и уставилась на берег, не говоря ни слова. Нет, не уступит, подумал он, Кэм — другая. Что ж, раз Кэм не отвечает, он не будет ее трогать, решил мистер Рамзи, нашаривая в кармане книгу. Ей очень хотелось ответить, ужасно хотелось сдвинуть какую-то преграду во рту, которая мешала ей сказать: да-да, Шалун! Я назову его Шалун! Ей даже хотелось спросить: не тот ли это пес, который в одиночку нашел дорогу через болото? Увы, как бы ни старалась, Кэм не могла придумать ничего, что прозвучало бы резко и в рамках заключенного пакта, и в то же время тайком дало бы отцу понять, что она его любит, незаметно для Джеймса. При всем при том, думала она, полоща руку в воде (мальчишка Макалистера поймал макрель, и та билась на дне лодки, из жабр текла кровь), при всем при том, думала она, глядя на Джеймса, который бесстрастно глядел на парус и время от времени посматривал на горизонт, ты не подвергаешься такому давлению, не разрываешься надвое, не подвергаешься искушению. Отец шарил по карманам, вот-вот достанет книгу.

Никто не нравился ей больше, чем он, — какие у него красивые руки, ноги, голос, а его торопливость, характер, причуды, страстность, а как он воскликнул во всеуслышание: «Мы гибли, каждый в одиночку», а его отстраненность! (Отец открыл книгу.) Что действительно невыносимо, подумала Кэм, выпрямившись и наблюдая, как мальчишка Макалистеров вытаскивает крючок из жабр второй рыбешки, так это вопиющая слепота и деспотизм отца, которые отравили ей все детство, вызывая бури негодования, — до сих пор она просыпается посреди ночи, дрожа от ярости, и вспоминает бесцеремонные отцовские указания: «Сделай это», «Сделай то», его превосходство: «Сделаешь, как я сказал».

И Кэм промолчала, продолжая грустно и угрюмо смотреть на берег, окутанный мирным покровом, словно все люди уснули, свободные как дым, как призраки, что вольны приходить и уходить, когда им заблагорассудится. Там нет страданий, думала она.

5

Да, это их лодка, решила Лили Бриско, стоя на краю лужайки. Серовато-коричневые паруса наконец расправились, и лодка рванула через бухту. Вон он сидит, подумала она, и дети все такие же притихшие. И ей до него не дотянуться. Невысказанное сочувствие к мистеру Рамзи пригибало ее к земле. Писать картину было трудно.

Она всегда считала его человеком тяжелым. Ей никогда не удавалось похвалить его в глаза, вспомнила Лили. Поэтому отношения оставались нейтральными, лишенными физического влечения, которое делало его обращение с Минтой таким галантным, чуть ли не игривым. Он мог сорвать для нее цветок, одалживал ей книги. Неужели он верил, что Минта их читает? Она таскалась с ними по саду, вкладывая зеленые листочки вместо закладок.

Помните, мистер Кармайкл? — хотелось спросить у старика, но тот уснул, накрыв шляпой лицо, или просто предавался мечтам, или искал подходящую рифму, предположила Лили.

Помните? — хотела она спросить, проходя мимо, и снова подумала про миссис Рамзи на берегу

— бочонок подпрыгивает на волнах, страницы летят. Почему через столько лет уцелело именно это воспоминание, заключенное в кольцо, освещенное, видимое до мельчайших деталей, а до и после него сплошная пустота на многие мили?

Там лодка или пробка? — повторила Лили слова миссис Рамзи, неохотно поворачиваясь к холсту. Слава небесам, проблема пустого пространства никуда не делась, подумала она, снова берясь за кисть. Пространство уставилось на нее свирепо. На нем-то и держится вся картина. На поверхности она должна быть красивой и яркой, легкой как перышко и эфемерной, цвета перетекают друг в друга, словно на переливчатых крыльях бабочки, но под тканью должна быть скреплена стальными болтами. Такой, что сомнешь неловким дыханием, такой, что не сдвинешь с места и упряжкой лошадей. И она начала класть красные, серые мазки, и начала прокладывать путь к пустоте в центре. В то же время Лили казалось, что она сидит на берегу рядом с миссис Рамзи.

— Там лодка или пробка? — спросила миссис Рамзи, шаря в поисках очков. Нашла и села, молча вглядываясь в море. И Лили, продолжая писать, почувствовала себя так, словно открылась дверь, она вошла и стоит, безмолвно озираясь в высо-

ком, похожем на собор здании, очень темном и торжественном. Из далекого внешнего мира доносились крики. На горизонте в клубах дыма исчезали пароходы. Чарльз бросал камешки, и те подпрыгивали по воде.

Миссис Рамзи сидела молча. Рада, подумала Лили, посидеть в тишине, ни с кем не общаясь, отдохнуть в полном забвении от человеческих отношений. Кто знает, что мы такое, что мы чувствуем? Кто знает даже в моменты близости: это — знание? Ну разве мы все не портим, говаривала миссис Рамзи (кажется, молчать с ней рядом Лили доводилось часто), произнося вслух? Разве мы не способны на большее? Пожалуй, момент исключительно удачный. Она вырыла в песке ямку и засыпала, чтобы сохранить в ней совершенство текущего момента — словно капля серебра, в которую заглядываешь, и мрак прошлого рассеивается.

Лили отступила на шаг, чтобы увидеть холст в перспективе, так сказать. Странная это дорога — живопись. Идешь и идешь все дальше, пока не очутишься на узком уступе совершенно один, над морем. Макая кисть в синюю краску, она погружалась в прошлое. Потом миссис Рамзи встала, вспоминала Лили. Пора было возвращаться до-

мой — время ланча. И все поднялись на крутой берег вместе, она шла за Уильямом Бэнксом, впереди — Минта в дырявом чулке. Как упрямо круглая дырочка на розовой пятке лезла им в глаза! Как осуждающе смотрел на нее Уильям Бэнкс, при этом, насколько Лили помнила, не говоря ни слова! Для него она олицетворяла крах женственности, грязь и беспорядок, удравших слуг и не застеленные до полудня кровати — все, что он презирал. Бедняга содрогнулся и растопырил пальцы перед собой, словно пытаясь скрыть неприглядное зрелище от глаз. А Минта шла себе дальше, вероятно, навстречу Полу, и удалилась с ним в сад.

Чета Рэйли, подумала Лили Бриско, сжимая тюбик с зеленой краской. Она собрала воедино свои впечатления от Рэйли. Их жизни представлялись в виде ряда сценок. В первой Пол пришел рано и лег спать, Минта задерживалась. И вот в три часа пополуночи Минта стоит на лестничной площадке — торжествующая, накрашенная, разодетая. Пол выходит в пижаме, держа в руке кочергу на случай грабителей. Минта жует сэндвич, стоя вполоборота у окна в мертвенном свете раннего утра, а на ковре дыра. О чем же они говорят? — спросила себя Лили, точно вглядываясь, можно

расслышать слова. Минта продолжает жевать сэндвич назло Полу, и тот шепчет что-то резкое, оскорбительное, стараясь не разбудить детей, двух маленьких сыновей. Он — поблекший, осунувшийся, она — яркая, беззаботная. Все пошло наперекосяк уже через год или два — брак оказался неудачным.

И это, подумала Лили, макая кисть в зеленую краску, придумывание эпизодов и есть то, что мы называем «знать» людей, «думать» о них, «интересоваться» ими! Ни слова правды, она все выдумала, хотя и знала их достаточно хорошо. Она продолжила углубляться в картину, в прошлое.

В другой раз Пол упомянул, что играет в шахматы в кофейнях. Воображение Лили вновь выстроило на основе его слов целую конструкцию. Она вспомнила: когда он это сказал, то ей живо представилось, как он позвонил служанке, и та говорит: «Миссис Рэйли ушла, сэр», и он решил тоже не возвращаться домой. Вот он сидит в углу мрачного кафе, где дым въелся в красную плюшевую обивку кресел, и официантки знают посетителей в лицо, и играет в шахматы с коротышкой, который торгует чаем и живет в Сербитоне, а больше Полу о нем ничего не из-

вестно. Минты не было дома, когда он вернулся, и последовала та сцена на лестнице, когда он прихватил кочергу для встречи грабителей (и ее напугать, конечно) и с горечью заявил, что она сломала ему жизнь. В любом случае, когда Лили навещала их в загородном домике под Рикмансвортом, обстановка была ужасно напряженной. Пол повел ее в сад смотреть на бельгийских зайцев, которых разводил, Минта увязалась следом, напевая и держа обнаженную руку у него на плече, чтобы он не разоткровенничался.

Минте осточертели зайцы, подумала Лили, только она себя не выдаст. Даже не упомянула про шахматы в кофейнях. Слишком бдительна, слишком осторожна. Но — возвращаясь к их истории — опасную стадию они миновали. Прошлым летом Лили приезжала к ним погостить, машина сломалась, и Минта подавала Полу инструменты. Он сидел на дороге, ремонтируя машину, и то, как жена подавала ему инструменты — деловито, просто, по-дружески, — доказывало, что у них все в порядке. Больше не влюблены, нет, он завел другую женщину, серьезную, с волосами, собранными в косу, и с портфелем в руке (Минта описывала ее с благодарностью, почти с восхищением), которая ходит на митинги и разделяет

взгляды Пола (все более и более радикальные) на налогообложение земельной собственности и капитала. Этот союз не разрушил их брак, а, наоборот, укрепил. Похоже, они теперь отличные друзья — судя по тому, как она подавала ему инструменты, когда он сидел на дороге.

Такова история четы Рэйли, подумала Лили и представила, как рассказывает ее миссис Рамзи, которой наверняка не терпелось бы узнать, что с ними стало. Сообщить ей, что брак не удался, было бы отрадно.

Вот только мертвые, подумала Лили, наткнувшись на какое-то препятствие в замысле, заставившее прервать работу и задуматься, отступив на пару шагов, ох уж эти мертвые! — пробормотала она, их жалеют, от них отмахиваются, некоторых даже слегка презирают. Они в нашей власти. Миссис Рамзи поблекла и пропала, подумала она. Мы можем пренебречь ее желаниями, испортить все дело, пытаясь улучшить ее ограниченные, старомодные представления. Она все больше от нас отдаляется. Сквозь коридор лет миссис Рамзи виделась ей в карикатурном виде: сидит с очень прямой спиной ранним утром (птицы в саду начинают петь) и твердит явную нелепость: «Женитесь! Выходите замуж!»

И никто ведь ей не скажет: все пошло наперекор вашим желаниям. Им хорошо на свой лад, мне — на свой. Жизнь совершенно изменилась. И самое ее существование, даже ее красота, вмиг устарели и покрылись пылью. Лили, стоявшая к солнцу спиной, подвела итог семейной жизни четы Рэйли и на миг восторжествовала над миссис Рамзи, которая никогда не узнает, что Пол ходит по кофейням и завел любовницу, что он сидел на земле, а Минта подавала ему инструменты, что Лили стоит здесь и рисует, что она так и не вышла замуж, даже за Уильяма Бэнкса.

Миссис Рамзи строила такие планы. Возможно, останься она жива, ей бы это удалось. Тем летом мистер Бэнкс уже стал «добрейшим мужчиной». Он был «первым ученым среди своего поколения, как говорит мой муж». Еще она называла его «бедняга Уильям — мне больно видеть, как неприютно он живет — в доме даже цветы некому расставить». И их посылали на совместные прогулки, и ей говорили с легким оттенком иронии, с которой миссис Рамзи всегда ускользала от трудных тем, что у нее научный склад ума, что ей нравятся цветы, что она очень аккуратная. Что за мания выдавать всех замуж и женить? — гадала Лили, отступая от холста и вновь подходя ближе.

(Внезапно, как с неба падает звезда, в ее сознании вспыхнул красноватый свет, охвативший Пола Рэйли, исходящий от него. Он вспыхнул, словно ритуальный костер, разведенный дикарями на дальнем берегу. Раздался рев и треск поленьев. Море на мили вокруг залило багрянцем и золотом. К его запаху примешивался какой-то пьянящий аромат, вскруживший ей голову, и Лили вновь захотелось броситься со скалы и утонуть, разыскивая на пляже жемчужную брошку. Рев и треск наполняли ее страхом и отвращением, будто кроме великолепия и мощи пламени она видела, как оно питается сокровищами дома — жадно, мерзостно, и это ее отвращало. Но по зрелищности, по великолепию оно превосходило все, что ей довелось испытать, год за годом оно горело словно сигнальный огонь на пустынном островке на краю моря, и стоило кому-то сказать «влюблен», как в тот же миг огонь Пола разгорался с новой силой, вот как сейчас. И снова гас, а она говорила себе со смехом: «Чета Рэйли», вспоминала про шахматы в кофейнях.)

Я ведь была на волосок от гибели, подумала Лили. Она разглядывала скатерть, и вдруг ей пришло в голову, что дерево нужно передвинуть в центр картины и выходить замуж вовсе ни к

чему, и ее затопило неимоверное облегчение. Она поняла, что способна противостоять миссис Рамзи, хотя и отдавала должное власти, которую та имела над людьми. Сделай так, говорила миссис Рамзи, и человек делал. Властной казалась даже ее тень у окна, где она когда-то сидела с Джеймсом на коленях. Лили вспомнила, как шокировало Уильяма Бэнкса пренебрежение Лили к значимости матери и сына. Разве она не восхищается их красотой? — спросил он. Однако Уильям все же выслушал объяснение, глядя на нее глазами мудрого ребенка, и убедился, что о непочтительности и речи нет: свету нужна тень в качестве противовеса и так далее. Она вовсе не принижала тему, которую, как оба согласились, Рафаэль считал боговдохновленной. С ее стороны это не было проявлением цинизма — совсем наоборот. Благодаря научному складу ума он все понял — лишнее доказательство бескорыстия его ума, что чрезвычайно ее порадовало и утешило. Значит, говорить с мужчиной о живописи всерьез возможно. Несомненно, дружба с ним приносила ей радость. Уильяма Бэнкса она любила.

Они ездили в Хэмптон-Корт, и он всегда оставлял ей, как истинный джентльмен, предостаточно времени, чтобы, так сказать, помыть руки, а

сам прогуливался у реки. Такие уж у них были отношения — многое оставалось недосказанным. Много лет они гуляли по парку и любовались соразмерностью линий и красотой цветов, и он рассказывал про перспективу, про архитектуру, останавливался рассмотреть дерево или вид на озеро, восхищался детьми (к великому сожалению, дочери у него не было) в странной отвлеченной манере, которая свойственна человеку, много времени проводящему в лаборатории, — внешний мир настолько ослепляет, что ему приходится ходить медленно, заслонять глаза рукой и останавливаться, запрокинув голову и вдыхая свежий воздух. Потом он признался, что экономка уехала отдыхать, а ему нужно купить ковер на лестницу. Не согласится ли она помочь с выбором ковра? Как-то раз он неожиданно заговорил о Рамзи и рассказал, что впервые встретил ее в серой шляпе лет в девятнадцать или двадцать. Она была поразительно красива. И он стоял, вглядываясь в аллею Хэмптон-Корта, словно увидел среди фонтанов ее.

Лили посмотрела на ступени гостиной. Глазами Уильяма она видела очертания женщины, безмятежной и молчаливой, с опущенным взглядом. Та сидела, задумавшись (в тот день она была

в сером, вспомнила Лили). Взгляд, как всегда, опущен. Да, подумала Лили, всматриваясь, я наверняка видела ее там, только не в сером, не такой неподвижной, не такой молодой, не такой безмятежной. Образ сложился с легкостью. Она была поразительно красива, сказал Уильям. Но красота еще не все. За красоту приходится дорого платить — слишком легко дается, слишком ее много. В присутствии красоты жизнь замирает — замораживается. Теряется легкий трепет, румянец, бледность, причудливое искажение, игра света и тени, вмиг делающие лицо неузнаваемым и в то же время добавляющие черточку, которая врезается в память навсегда. Проще все это сгладить, скрыв под покровом красоты. Интересно, как она выглядела, думала Лили, когда нахлобучивала охотничью кепку с двумя козырьками, бежала по лужайке или распекала садовника? Кто знает? Кто расскажет?

Против воли она вынырнула на поверхность и обнаружила, что отошла от своего холста и ошеломленно, словно во сне, смотрит во все глаза на мистера Кармайкла. Тот лежал в шезлонге, сложив ручки на пузе, не читал и не спал, а нежился, довольный жизнью как никогда. Книга валялась в траве.

Ей хотелось подойти к нему и окликнуть: «Мистер Кармайкл!» Тогда бы он поднял взгляд, посмотрел на нее, по обыкновению, доброжелательно, с поволокой в зеленых глазах. Но будить людей, не зная, о чем говорить, не стоит. Лили хотелось сказать так многое, что она растерялась. Маленькие слова разбивают мысль на части, не выражая ничего. «О жизни и смерти, о миссис Рамзи» — нет, подумала она, один человек ничего не может сказать другому. Острота момента никогда не достигает цели. Слова разлетаются в стороны и ударяются о предмет на несколько дюймов ниже, чем нужно. И тогда сдаешься, идея снова отступает, и ты становишься, как и большинство людей средних лет, осторожной, скрытной, с морщинками вокруг глаз и выражением постоянной тревоги на лице. Как выразить словами эмоции тела? Как выразить пустоту вон там? (Лили смотрела на ступени гостиной, и те выглядели необычайно пустыми.) Так чувствовало тело, а не разум. Внезапно физические ощущения, сопровождающие вид пустых ступеней, стали чрезвычайно неприятными. Хотеть и не получить — из-за этого ее тело становилось твердым, пустым, напряженным. А потом мучительное желание — хотеть и хотеть, не получая

— как из-за этого сжимается сердце, как оно щемит снова и снова! О, миссис Рамзи! — безмолвно вскричала Лили, взывая к сущности, что сидела возле лодки, к абстракции, в которую сама ее превратила, к женщине в сером, словно обвиняя в том, что она их покинула, а уйдя, вновь вернулась. Думать о ней совершенно не опасно. Призрак, воздух, ничто, вещь, играть с которой можно легко и безопасно в любое время дня и ночи, — вот чем стала миссис Рамзи, а потом вдруг протянула руку и сжала ей сердце. Внезапно пустые ступени, оборка на кресле в гостиной, ковыляющий по террасе щенок, колыхание и шепот сада превратились в архитектурные украшения, обрамляющие полную пустоту.

«Что это значит? Как вы это объясните?» — хотелось ей спросить, снова обратившись к мистеру Кармайклу. Казалось, сегодня утром весь мир растекся, обратившись в заводь мыслей, глубокий резервуар реальности, и вполне можно было представить, что стоит мистеру Кармайклу заговорить, к примеру, поверхность заводи рассечет маленькая слеза. И что тогда? Что-нибудь поднимется из глубин. Вскинется рука, сверкнет клинок. Ерунда, конечно!

Лили пришла странная мысль: все-таки он

услышал то, чего она сказать не могла. Невозмутимый старик с желтым пятном на бороде, со своей поэзией и головоломками шел по жизни безмятежно, и та удовлетворяла все его нужды — достаточно руку протянуть, и он получит прямо с лужайки все, что заблагорассудится. Лили посмотрела на картину. Пожалуй, таким мог быть его ответ — «вы», «я», «она» уйдут, исчезнут, ничего не останется, все изменится, кроме слов, кроме краски. И все же ее повесят на чердаке, подумала Лили, скатают и сунут под диван; но даже если и так, даже если взять ее картину, это правда. Пусть это пачкотня, а не настоящая живопись, и все же ее попытка «останется навсегда», хотела сказать Лили или, поскольку произнесенные слова прозвучали бы слишком хвастливо даже для нее самой, скорее безмолвно намекнула, и с удивлением обнаружила, что не видит холста. Глаза заполняла горячая влага (сначала она даже не подумала о слезах), которая делала воздух густым и катилась по щекам, не тревожа твердости губ. Она прекрасно владела собой — еще бы! — во всех иных аспектах. Неужели она плачет по миссис Рамзи, даже не сознавая, что несчастна? Она снова обратилась к старику Кармайклу. Что тогда? Что это значит? Могут ли

они воздеть руки и схватить тебя, может ли клинок сечь, кулак сжиматься? Неужели спасенья нет? Неужели нельзя затвердить наизусть, как устроен этот мир? Ни путеводителя, ни укрытия — сплошные чудеса и прыжок с башенного шпиля прямо в воздух? Могло ли быть так, что это и есть жизнь — поразительная, неожиданная, неизведанная даже для стариков? На миг Лили пригрезилось, что они стоят вдвоем здесь, на лужайке, и требуют объяснения, почему жизнь так коротка, почему так непостижима, требуют яростно, как два человека, готовые абсолютно ко всему, от которых ничего не скроешь, и тогда красота внезапно появится, пространство заполнится, пустые завитушки сложатся в образ; если они будут звать достаточно долго, миссис Рамзи вернется. «Миссис Рамзи! — громко воскликнула Лили, — миссис Рамзи!» По лицу бежали слезы.

6

Мальчишка Макалистера взял макрель и вырезал из бока квадратик для наживки. Изуродованную рыбешку (все еще живую) он бросил обратно в море.

7

— Миссис Рамзи! — вскричала Лили. — Миссис Рамзи!

Но ничего не произошло. Боль усилилась. До какого идиотизма может довести эта тоска! — подумала она. В любом случае старик ее не услышал. Все такой же благожелательный, спокойный — даже возвышенный, если угодно. Слава небесам, никто не услышал ее постыдного вопля: прочь, боль, прочь! Она не сходила с ума прилюдно. Никто не видел, как она шагнула с узкой доски навстречу гибели. Лили осталась убогой старой девой с кистью в руке.

Постепенно боль желания и горечь гнева (все вернулось, когда она вообразила, что перестала горевать по миссис Рамзи. Скучала ли она по ней за завтраком, в компании кофейных чашек? ничуть) утихли, мучения сменились облегчением, что само по себе — бальзам на раны, и еще, что более загадочно, ощущением присутствия миссис Рамзи, которая сбросила груз мирских забот, беззаботно постояла рядом, а потом (ведь это была миссис Рамзи во всей красе!) водрузила себе на голову венок из белых цветов и ушла.

Лили выдавила еще красок и кинулась решать задачку с изгородью. Миссис Рамзи виделась ей на удивление отчетливо — стремительно прошагала среди мягких лиловых складок цветущих лугов, среди гиацинтов или лилий, потом исчезла. Глаз художника и не на такое способен. Услышав о ее смерти, Лили Бриско еще долго видела, как миссис Рамзи надевает на голову венок и беспрекословно идет по лугам со своим спутником-тенью. Зрительный образ и фраза способны утешить. Где бы она ни писала картины — здесь, за городом или в Лондоне, — ее посещало это видение, и прищуренные глазки Лили искали, на что бы опереться. Она смотрела на вагон поезда, на омнибус, выхватывала изгиб плеча или скулы, смотрела на окна напротив, по вечерам разглядывала освещенную фонарями Пиккадилли. Все они принадлежали смерти, все были частью ее лугов. Но вечно что-нибудь — лицо, голос, мальчишка-газетчик, кричавший «Стандарт», «Ньюс», — врывалось, одергивало, будило ее, чего-то требовало и в конце концов отвлекало внимание, и видение приходилось воссоздавать заново. И вот опять, движимая инстинктивной потребностью в просторе и синеве, Лили смотрела на бухту внизу, преображая синие гряды

волн в горы, а лиловые прогалы между ними — в каменистые пустоши, и снова, как обычно, ее отвлекла некая несообразность. В середине бухты виднелось коричневое пятнышко. Лодка, вскоре поняла она. Да, но чья? Мистера Рамзи, ответила она. Мистера Рамзи — мужчины, который отстраненно прошагал мимо нее с поднятой рукой, во главе процессии, в своих красивых ботинках, который просил сочувствия, а она ему отказала. Лодка была уже на полпути.

Не считая редких порывов ветра, утро выдалось таким погожим, что вода и небо совершенно сливались, паруса утыкались прямо в небо, облака текли по морю. Далеко-далеко пароход выпустил огромный клуб дыма, так и оставшийся висеть, живописно завиваясь, словно воздух, — тонкая вуаль, которая удерживает предметы в своей мелкой сетке, легонько покачивая их взад-вперед. И, как иногда случается в очень ясную погоду, прибрежные скалы будто бы догадывались о присутствии кораблей, а корабли будто бы догадывались о присутствии скал, и они обменивались тайными сигналами. И маяк в дымке, иногда такой близкий к берегу, сегодня терялся в непроглядной дали.

Где же они теперь? — подумала Лили, глядя

на море. Где же он, тот старик, который прошел мимо нее молча, держа под мышкой бумажный сверток? Лодка была на полпути к маяку.

8

Они там ничего не чувствуют, подумала Кэм, глядя на берег, который, поднимаясь и опадая, становился все более далеким и умиротворенным. Рука ее оставляла след в море, в то время как разум превращал зеленые завитки и полосы в узоры, и она, оцепеневшая и окутанная пеленой фантазии, бродила в подводном мире, где к белым брызгам льнут грозди жемчужин, где зеленый свет совершенно преображает сознание, а завернутое в зеленый плащ тело становится полупрозрачным и светится изнутри.

Затем водоворот вокруг руки ослабел. Напор воды уменьшился, мир заполнили тихие скрипы и визги. Волны бились о борт, словно лодка бросила якорь в гавани. Все вдруг значительно приблизилось. Парус, с которого Джеймс не сводил глаз, пока тот не стал для него старым знакомым, совершенно провис; они остановились, качаясь в ожидании ветерка под палящим солнцем вдали от берега, вдали от маяка. Казалось, весь мир замер. Маяк сделался недвижим, и линия дальнего берега застыла. Солнце припекало, и все сблизились настолько, что ощущали присутствие друг

друга, о котором почти позабыли. Леска Макалистера отвесно ушла в море. Однако мистер Рамзи продолжал читать, поджав под себя ноги.

Он читал блестящую книжку с обложкой пестрой, словно яичко ржанки. То и дело, пока они болтались в этом жутком безветрии, он переворачивал страницу. И Джеймсу казалось, что каждую сопровождал особый жест, предназначавшийся лично ему, — то напористый, то властный, то с намерением пробудить в них жалость, и все время, пока отец читал и перелистывал странички, Джеймс страшился момента, когда он поднимет взгляд и резко выскажется по тому или иному поводу. Почему они тут застряли? — спросит отец или еще что-нибудь несуразное. Если спросит, подумал Джеймс, я возьму нож и воткну ему прямо в сердце.

Идею взять нож и воткнуть отцу в сердце он вынес из детства, только теперь, став старше и глядя на отца в бессильной ярости, он хотел убить вовсе не старика, читающего книгу, а то, что давило на него — пожалуй, он и сам этого не осознавал, — свирепую чернокрылую гарпию с холодными и твердыми когтями и клювом, который вонзается в него вновь и вновь (он чувствовал клюв на голых ногах, куда тот бил в

детстве), потом уносится прочь, и вот перед ним опять сидит очень грустный старик с книгой. Вот кого он убьет, вот кого ударит прямо в сердце! Где бы он ни устроился (да ему что угодно по плечу, чувствовал Джеймс, глядя на маяк и на далекий берег) — хоть в торговле, хоть в банке, хоть в суде, хоть во главе крупной компании, с ней-то он и будет сражаться, ее-то и будет выслеживать и искоренять — тиранию, деспотизм, который заставляет людей делать то, что им не хочется, отнимает у них право голоса. Разве могли они сказать: я не поеду, когда он велел: поехали на маяк, сделайте это, принесите мне то. Черные крылья раскинулись над ними, и твердый клюв впился в плоть. А в следующий миг он сидит и читает книгу, может поднять взгляд — никогда не знаешь наверняка — вполне осмысленный. Может заговорить с Макалистерами, может сунуть соверен в руку замерзшей старухи на улице, думал Джеймс, и орать, наблюдая за состязанием рыбаков, возбужденно размахивая руками. Или может сидеть во главе стола, храня молчание весь обед. Да, подумал Джеймс, пока лодка болталась и зыбилась под палящим солнцем; посреди снежной, скалистой пустыни очень одиноко и сурово, но в последнее время ему все чаще каза-

лось, когда отец говорил или делал что-нибудь, удивлявшее окружающих, что в той пустыне всего две цепочки следов — его и отцовские. Только они двое понимают друг друга. Тогда к чему этот террор, эта ненависть? Оглядываясь назад среди множества листов, что вложило в его память прошлое, всматриваясь в сердце леса, где свет и тень настолько переплетаются, что искажают любые очертания, и человек допускает ошибку, ослепленный то светом, то тьмой, он искал образ, который остудил бы его пыл, разделил чувства и заключил их в конкретную форму. Предположим, будучи ребенком, беспомощно сидевшим в коляске или на чьих-то коленях, он видел, как повозка переехала, сама того не ведая и не желая, чью-то ногу. Предположим, он увидел сначала ногу, в траве, гладкую и целую, затем колесо и ту же ногу, только обагренную кровью, сломанную. Но колесо не виновато. Значит, теперь, когда отец прошелся по коридору, стуча в двери рано поутру, и позвал их на маяк, оно переехало ногу ему, Кэм, да кому угодно. А он просто сидел и смотрел.

Но о чьей ноге он подумал и в каком саду это произошло? У сценки свои декорации — деревья, цветы, определенное освещение, действующие лица. В том саду не было тоски, никто не разма-

хивал руками, люди говорили обычным тоном. Весь день они то входили, то выходили. На кухне судачила какая-то старуха, шторы колыхались от ветра — все развевалось, все росло, а ночью тарелки и чаши, красные и желтые цветы на высоких стеблях облекала тончайшая, как виноградный листок, золотистая завеса. По ночам становилось тише и темнее. Но завеса была так тонка, что огни ее рассеивали, голоса ее сминали, он видел очертания склонившейся над ним фигуры — подошла, потом удалилась, зашуршало платье, звякнула цепочка.

Именно в том мире колесо проехалось по чьей-то ноге. Высоко над ним что-то цвело, а потом вторглось что-то бесплодное и острое, как клинок, как ятаган, сминая листву и цветы даже в этом счастливом мире, заставило их увянуть и осыпаться.

«Будет дождь, — вспомнились ему слова отца. — Ты не сможешь поехать на маяк».

Тогда маяк представлялся ему серебристой, покрытой туманом башней с желтым глазом, который внезапно и робко открывался по вечерам. Теперь…

Джеймс посмотрел на маяк. Он видел выбеленные скалы, суровую и стройную башню,

размеченную черными и белыми полосами, видел окна и даже белье, развешанное для просушки. Значит, вот он какой — маяк?

Нет, не только такой, потому что вещи никогда не бывают чем-то одним. Другой маяк тоже существует. Порой его едва разглядишь на другом краю бухты. По вечерам поднимаешь взгляд и видишь, как глаз открывается и закрывается, и его свет доходит до просторного солнечного сада, где они сидят.

Джеймс взял себя в руки. Всякий раз когда он говорил «они» или «кто-то», ему слышался шорох одежды, звяканье цепочки — он сразу ощущал в комнате чье-то присутствие. На этот раз — отца. Напряжение нарастало. Еще миг и, если ветерок не поднимется, отец захлопнет книгу и воскликнет: «Что происходит? Почему мы здесь болтаемся?», и, как раньше, когда он вонзил свой клинок в них с матерью, сидящих на террасе, и она напряглась всем телом, Джеймс пожалел, что у него нет под рукой ни ножа, ни топора или еще чего-нибудь острого, чтобы воткнуть отцу в сердце. Мать напряглась, потом ее рука обмякла, и он понял, что она больше не слушает, она поднялась и ушла, оставила его одного — беспомощного, нелепого, сидящего на полу с ножницами.

Ни единого дуновения. Вода фыркала и булькала на дне лодки, три-четыре макрели били хвостами в слишком мелкой, чтобы их покрыть, лужице. В любой момент мистер Рамзи (Джеймс и взглянуть на него не осмеливался) мог выйти из себя, захлопнуть книгу и сказать что-нибудь резкое, но пока он читал, и Джеймс украдкой, словно крадется босиком вниз по лестнице, боясь разбудить скрипом половицы сторожевого пса, продолжал думать, какой она была, куда ходила в тот день. Он проследил ее путь по дому, и наконец они вышли в комнату, где в голубом свете, словно отраженном от множества фарфоровых тарелок, она с кем-то разговаривала. Он слушал, как она говорит со служанкой, говорит первое, что приходит в голову. Она одна говорила правду, ей одной он мог сказать правду. Пожалуй, поэтому его так и влекло к ней — можно было говорить первое, что приходит в голову. И все время, пока думал о ней, Джеймс чувствовал, что отец следит за его мыслью, изучает ее, заставляет дрожать и спотыкаться. Наконец он перестал думать.

Он просто сидел на солнце и держал руку на румпеле, уставившись на маяк, не в силах пошевелиться, не в силах стряхнуть крупицы страданий, оседавшие в сознании одна за другой.

Словно отец связал его веревкой, и освободиться можно, только взяв нож и воткнув… И в этот миг парус медленно развернулся, медленно наполнился, лодка дрогнула, в полузабытьи тронулась с места, а потом пробудилась от сна и рванула по волнам. Напряжение схлынуло. Казалось, все вновь отдалились друг от друга и облегченно выдохнули, а лески за бортом вновь туго натянулись. Отец даже не повернул голову, лишь загадочно поднял правую руку и уронил на колено, словно дирижировал тайной симфонией.

9

(Море без единого пятнышка, подумала Лили Бриско, все еще стоя и глядя на бухту. Морская гладь расстилалась шелком. Даль необычайно сильна, вот и их поглотила, чувствовала Лили, и они канули навеки, влились в естественный порядок вещей. Так спокойно, так тихо. Пароход исчез, но огромный клуб дыма все еще висел в воздухе, словно траурно приспущенный флаг.)

10

Вот, значит, какой он, этот остров, подумала Кэм, снова проводя пальцами по волнам. Видеть его с воды ей пока не доводилось. Он лежал в море, посередине — выемка и два острых утеса, и море захлестывает сушу и расстилается на многие мили в обе стороны. Совсем маленький, в форме листка, стоящего торчком. И тогда мы сели в лодочку, подумала она, начиная приключенческий рассказ о бегстве с тонущего корабля. Но море струилось сквозь пальцы, внизу исчезали водоросли, и ей не хотелось сочинять никаких серьезных историй, ей хотелось приключений и свободы, ведь пока лодка плыла, злость отца из-за сторон света, одержимость Джеймса их пактом, ее собственные страдания куда-то улетучились, сошли на нет, утекли прочь. И что дальше? Куда они делись? Из холодной как лед руки, которую Кэм держала глубоко в воде, бил фонтан радости — разнообразие, освобождение, приключение (она выживет, она попадет туда). И капли с этого внезапного и бездумного фонтана радости изредка падали на темные, сонные глубины ее сознания, на очертания мира еще не сотворенно-

го, только обретающего форму, ловящего искры света — Греция, Рим, Константинополь. Хотя он и маленький, как листок, стоящий торчком и омываемый золотистыми водами, наверное, и у него есть, предположила она, свое место во Вселенной — даже у столь маленького островка? Старый джентльмен в кабинете, подумала Кэм, мог бы сказать ей наверняка. Иногда она нарочно забредала из сада в дом, чтобы застать их врасплох. Они неизменно сидели друг напротив друга (то мистер Кармайкл, то мистер Бэнкс и ее отец) в низких креслах. Они хрустели страницами «Таймс», когда она заходила из сада, и у нее голова шла кругом из-за того, что́ кто-то сказал про Христа, или про мамонта, выкопанного на лондонской улице, или про характер Наполеона. Потом они брали все это в свои чистые руки (они носили серую одежду, от них пахло вереском) и соединяли обрывки воедино, переворачивали страницу, закидывали ногу на ногу и время от времени что-нибудь кратко поясняли. Просто для удовольствия она иногда брала книгу с полки и стояла, глядя как отец пишет — очень ровно, аккуратно, строчку за строчкой, время от времени покашливая и что-нибудь кратко сообщая джентльмену напротив. И Кэм думала, стоя с

открытой книгой, что здесь любая мысль распускается, как чайный листок в воде, и если среди курящих трубки и читающих «Таймс» старых джентльменов думается хорошо, то и мысль правильная. Вспоминая пишущего в кабинете отца, она понимала теперь, сидя в лодке, что он вовсе не тщеславный, не тиран и не хочет, чтобы его все жалели. И вообще, если он замечал, что она наблюдает за ним, читая книгу, то спрашивал ласково как мог: ей что-нибудь нужно?

Или она ошибается? Кэм посмотрела на отца, читающего книжку в яркой, пестрой, как яичко ржанки, обложке. Нет, не ошибается. Взгляни на него, хотелось ей сказать Джеймсу. (Джеймс глаз не сводил с паруса.) Он — язвительная скотина, ответил бы Джеймс. Вечно переводит разговор на себя и свои книги, ответил бы Джеймс. Неисправимый эгоист. Хуже того, тиран! Ты только взгляни, возразила бы Кэм, взгляни на него. Посмотри на него теперь! Она наблюдала, как он читает книжечку, подогнув под себя ноги, маленькую книжку, чьи пожелтевшие страницы ей были знакомы, хотя она не знала, что на них написано. Небольшая, шрифт мелкий, на чистом листке в начале он записал, что потратил на обед пятнадцать франков: вино столько-то, офици-

анту — столько-то, все аккуратно подсчитано внизу странички. Но что написано внутри книги с загнутыми по форме кармана уголками, она не знала. Никто из них не знал, о чем он думает. Отец настолько погрузился в чтение, что поднимал невидящий взгляд, вот как сейчас, лишь для того, чтобы лучше понять мысль. Он читает, думала Кэм, словно ведет кого-то, или пасет большое стадо овец, или поднимается все выше и выше по узкой тропинке; и иногда идет быстро и прямо, пробираясь через заросли, и прокладывает себе путь, и порой кажется, что ветка его ударила, ослепила, однако он и не думает пасовать, идет себе дальше, листая страницу за страницей. И она вернулась к своей истории про спасение с тонущего корабля, ведь ей ничто не угрожало, пока он читает, как и в детстве, когда она прокрадывалась в кабинет из сада, брала книгу, и старый джентльмен, внезапно опустив газету, кратко сообщал что-нибудь про личность Наполеона.

Она оглянулась на море, на остров. Листок терял четкое очертание. Он казался очень маленьким, очень далеким. Теперь море стало гораздо важнее, чем берег. Повсюду их окружали волны, вздымались и опадали, на одной волне качалось бревно, на другой — чайка. Примерно

здесь, подумала Кэм, макая пальцы в воду, затонул корабль, и прошептала в полусне: мы гибли, каждый в одиночку.

11

Сколь много зависит, думала Лили Бриско, глядя на море без единого пятнышка, такое нежное, что паруса и облака тонули в голубизне, сколь много зависит от расстояния — далеко люди от нас или близко; потому что ее чувство к мистеру Рамзи менялось по мере того, как он плыл по бухте все дальше и дальше. Казалось, чувство удлиняется, вытягивается, а он становится все более чужим. Мистера Рамзи с детьми словно поглощала голубая даль, расстояние, а здесь, на лужайке, только руку протяни, внезапно фыркнул мистер Кармайкл. Она рассмеялась. Он схватил упавшую на траву книгу. Уселся в шезлонге, пыхтя и отдуваясь, словно морское чудовище. Совсем иное впечатление, когда он так близко. И снова наступила тишина. Наверное, они уже встали с постели, предположила Лили, поглядев на дом, но никого не увидела. Ах да, вспомнила Лили, после завтрака они всегда расходятся по своим делам, что вполне в духе этой тишины, пустоты и иллюзорности раннего утреннего часа. Так иногда бывает, думала она, помедлив и бросив взгляд на сверкающие оконные стек-

ла и голубой дымок: привычки перерастают в болезнь прежде, чем всплывут на поверхность, и ты чувствуешь нереальность происходящего, которая так и завораживает, чувствуешь, как что-то вырисовывается. В подобные моменты жизнь кажется особенно яркой. И дышится легче. К счастью, нет нужды нестись через всю лужайку к старой миссис Беквит, которая выискивает, где бы присесть, и трещать без умолку: «С добрым утром, миссис Беквит! Какой чудный денек! Набрались смелости и решили посидеть на солнышке? Джаспер спрятал все кресла. Позвольте за вами поухаживать!» и прочая болтовня в том же духе. Ничего говорить не нужно. Скользишь себе, покачивая парусами (в бухте было довольно оживленно, лодки отплывали от берега), нигде не останавливаясь, минуя всех. И вокруг вовсе не пусто, скорее полно до краев. Она словно стояла по самые губы в какой-то субстанции, двигалась в ней, плавала и тонула, потому что эти воды были немыслимо глубоки. В них влилось столько жизней! Четы Рамзи, их детей, всяких бедняков и бродяг без счета. Прачка с корзиной, грач, книпхофия, лиловые и серо-зеленые цветы — и некое общее чувство, что удерживает их вместе.

Пожалуй, сходное ощущение завершенности

охватило ее десять лет назад, когда она стояла примерно там же, где и сейчас, и заставило ее признаться, что она влюблена в это место. У любви — тысячи форм. Возможно, есть любящие, чей дар в том, чтобы отбирать элементы сущего и соединять воедино, таким образом придавая им недостающую цельность, превращая какую-нибудь сцену или сборище (все ушли, разбрелись в разные стороны) в нечто круглое и компактное, над чем витает мысль и чем тешится любовь.

Взгляд Лили остановился на коричневой точке — парусной лодке мистера Рамзи. Они будут на маяке к ланчу, предположила она. Ветер посвежел, небо слегка изменилось, и море слегка изменилось, лодки переместились, и общий вид, который только что казался удивительно соразмерным, теперь выглядел неудачно. Ветер развеял коричневый клуб дыма, в расположении кораблей появилось что-то неприятное.

Возникшая несоразмерность, казалось, нарушила гармонию в ее собственном сознании. Лили ощутила смутное беспокойство. Оно усилилось, стоило ей повернуться к картине. Она теряет утро зря! Почему-то не удавалось достичь столь необходимого критического равновесия между мистером Рамзи и картиной. Может, просчет в

композиции? Может, линия стены так и просится, чтобы ее прервали, или масса зелени слишком тяжелая? Какая ирония, ведь к началу работы вроде бы решила свою проблему.

В чем же проблема? Она должна ухватить нечто неуловимое. Оно ускользало, когда она думала о миссис Рамзи, оно ускользало даже теперь, когда она думала о картине. Фразы, видения. Красивые фразы, красивые видения. Но ей хотелось ухватить то, от чего ее коробило, то самое, с чего все началось. Возьми и начни заново, возьми и начни, в отчаянии твердила она себе, решительно становясь за мольберт. До чего жалкая машина, до чего малоэффективная, думала она, ведь человеческий организм не годится ни для живописи, ни для чувств, всегда ломается в самый ответственный момент; придется приложить героическое усилие и заставить себя. Она смотрела и хмурилась. Вот изгородь, это понятно. Одного упорства мало. Хоть ослепни, разглядывая линию стены или думая: она носила серую шляпу, она была удивительно красива. Пусть идет как идет, сдалась Лили. В иные моменты не можешь ни думать, ни чувствовать. А если не можешь ни думать, ни чувствовать, подумала она, то где же ты?

Здесь, на траве, на земле, подумала она, присаживаясь и трогая кистью небольшую колонию подорожника. Лужайка совсем заросла дикими травами. Здесь, в этом мире, думала Лили, не в силах избавиться от чувства, что сегодня утром все происходит впервые или, наверное, в последний раз, как путешественник даже в полудреме знает, выглядывая из окна, что должен смотреть, иначе больше никогда не увидит тот город или повозку с мулами или женщину, работающую в поле. Лужайка — мир, они здесь вдвоем, на высшей ступени, думала она, глядя на старого мистера Кармайкла, который вроде бы (хотя за все время они и словом не перекинулись) разделяет ее мысли. Наверное, она больше никогда его не увидит. Он стареет. А еще, вспомнила Лили, с улыбкой глядя на тапочку, болтающуюся у него на ноге, становится популярным. Люди говорят, что у него очень красивые стихи. Они взяли и издали написанное им сорок лет назад. Кармайкл теперь знаменитость, улыбнулась она, думая, сколько обличий может принимать человек, что в газетах он один, а здесь — тот же, что и всегда. Он выглядел все тем же, только еще больше поседел. Да, он выглядел прежним, но кто-то сказал, вспомнилось ей, что, услышав о смерти Эндрю

Рамзи (погиб мгновенно от взрыва снаряда, а мог бы стать великим математиком), мистер Кармайкл «потерял к жизни всякий интерес». Что бы это значило? — гадала Лили. Прошествовал маршем по Трафальгарской площади с большой дубинкой? Листал страницу за страницей, не читая, сидя в одиночку в своей комнате в Сент-Джонс-Вуд? Она не знала, что он сделал, когда услышал о гибели Эндрю, но все равно чувствовала это в нем. Они лишь бормотали слова приветствия, встречаясь на лестнице, они смотрели в небо и говорили, что погода будет хорошая или плохая. Но это лишь один из способов узнать человека, думала она: в общих чертах, без подробностей, сидеть в саду и смотреть на лиловые склоны холмов, исчезающие в зарослях дрока. Так она его и узнала. Лили чувствовала, что он изменился. Хотя она не прочла ни строчки его стихов, ей думалось, что его поэзия течет медленно и густо. Наверняка его поэзия — выдержанная и зрелая. Он пишет про пустыню и верблюда, про пальму и закат. В высшей степени безликая; там говорится о смерти и очень мало — о любви. Он и сам довольно безликий. Ему мало что нужно от других. А как он пробирался украдкой, сунув газету под мышку, мимо окна гостиной, избегая миссис

Рамзи, которую почему-то недолюбливал! Из-за этого, разумеется, она вечно норовила его остановить. Он кланялся. Неохотно останавливался и низко кланялся. Недовольная тем, что ему ничего от нее не нужно, миссис Рамзи спрашивала (Лили так и слышала ее голос), не нужно ли ему пальто, плед, газету? Нет, спасибо, ничего. (Тут он кланялся.) Было в ней некое качество, из-за которого он ее недолюбливал. Пожалуй, дело в ее властности, настойчивости, прагматичности. Сама непосредственность.

(Внимание Лили привлек шум — скрипнули петли. Окном гостиной играл ветерок.)

Наверняка она не всем нравилась, подумала Лили. (Понятно, что ступени пусты, но ей все равно. Теперь миссис Рамзи ей не нужна.) Некоторые считали ее излишне самоуверенной, слишком напористой.

Кроме того, некоторых, пожалуй, раздражала ее красота. Как однообразна, говорили они, всегда одна и та же! Им нравились иные женщины — смуглые, жизнерадостные. И еще она потакала мужу, позволяла ему устраивать сцены. И еще была очень сдержанной — никто не знал наверняка, что с ней происходит. И (возвращаясь к мистеру Кармайклу и его антипатии) никому бы

и в голову не пришло представить миссис Рамзи за мольбертом или с книгой на лужайке. Просто немыслимо! Без лишних слов, повесив на руку корзинку (единственный признак, что идет по делам), она отправлялась в город, к беднякам, сидеть у чьей-нибудь постели в душной комнатке. Весьма часто Лили видела, как она молча уходила посреди игры или разговора, с корзинкой, очень прямая. Лили обращала внимание, какой она возвращалась. Лили думала, усмехаясь (как аккуратно расставляет чашки) и в то же время умиляясь (от ее красоты захватывает дух): на тебя смотрели глаза страждущих. Ты была там, вместе с ними.

А после миссис Рамзи сердилась, что кто-то опаздывает, или масло несвежее, или на заварочном чайнике щербинка. И все время, пока она выговаривала из-за несвежего масла, Лили думала о греческих храмах и о том, что в душную комнатку наведалась красота. Сама она ничего не рассказывала — просто методично ходила туда, и все. Ею двигал инстинкт, который влечет ласточек, улетающих на юг, или артишоки, что тянутся к солнцу, инстинкт, безошибочно обращавший ее к роду людскому, заставляющий вить гнездо в его сердце. И это слегка обескураживало тех, кто

подобным инстинктом не обладал, — мистера Кармайкла и, конечно, саму Лили. Обоим было присуще некое убеждение в бесполезности действия, в примате мысли. Ее уходы были для них упреком, придавали всему совершенно другой оборот, поэтому они ее осуждали, до последнего цепляясь за свои предубеждения. Чарльз Тэнсли — такой же, отчасти поэтому его и не любили. Он нарушал гармонию их мирка. Интересно, как у него все сложилось, задумалась Лили, рассеянно трогая кистью подорожники. Получил стипендию. Женился, живет в Голдерс-Грин.

Во время войны она однажды зашла в ратушу и слышала, как он произносил речь. Тэнсли что-то осуждал и кого-то клеймил, призывал к братской любви. И она испытала крайнее недоумение: как он может любить себе подобных, если не отличает одну картину от другой, ведь когда-то он стоял у нее за спиной, покуривая махорку («пять пенсов за унцию, мисс Бриско») и считал своим долгом выговаривать ей, что женщины не способны писать, женщины не способны творить — не то чтобы он сам в это верил, но почему-то упорствовал?! И вот он стоит худой, раскрасневшийся и охрипший, вещает о любви с трибуны (среди подорожников, которые она ворошила кистью,

ползали муравьи — красные, энергичные, блестящие муравьи, похожие на Чарльза Тэнсли). Сидя в полупустом зале, она скептично взирала, как он изливает любовь в промерзшее пространство, и вдруг в волнах закачалась старая бочка или что там еще, и миссис Рамзи принялась искать среди камней футляр с очками. «Ой, какая досада! Опять потеряла очки. Не трудитесь, мистер Тэнсли. Летом я их теряю тысячами», на что он снова уткнул подбородок в воротник, словно боялся допустить подобное преувеличение, но готов был простить его той, что ему так нравится и улыбается так чарующе. Наверняка он откровенничал с ней во время одной из тех долгих прогулок, когда компания разбредается и все возвращаются поодиночке. К его чести, он оплачивал образование своей младшей сестры, поведала как-то миссис Рамзи. Шевеля подорожники кисточкой, Лили прекрасно осознавала, что имеет о нем весьма искаженное представление. В конце концов, это можно сказать о доброй половине наших представлений о других. Мы используем их в личных целях. К примеру, Тэнсли служил ей мальчиком для битья. Будучи в дурном настроении, она секла его по тощим бокам. Если же относиться к нему серьезно, то придется прислушаться к миссис

Рамзи, взглянуть на Тэнсли ее глазами.

Лили насыпала небольшую горку, чтобы муравьи на нее взбирались. Своим вмешательством в эту маленькую вселенную она внесла смятение в их ряды. Одни бежали туда, другие сюда.

Нужно иметь пятьдесят пар глаз, чтобы видеть, подумалось ей. Нет, пятидесяти пар глаз не хватит, чтобы обыграть эту женщину. Одна пара должна быть совершенно слепа к ее красоте. Нам хочется обладать неким тайным способом восприятия, ясным как воздух, чтобы проникать в замочные скважины и окружать ее там, где она вяжет, разговаривает, молча сидит у окна в одиночестве; чтобы забрать ее себе и беречь, как воздух хранит клубы пароходного дыма, ее мысли, фантазии, желания. Что значила для нее эта изгородь, что значил для нее сад, что значила для нее бьющаяся о берег волна? (Лили подняла взгляд, как делала миссис Рамзи, услышав, как волна накатывает на берег.) И что же ворочалось и трепетало в ее сознании, когда дети кричали: «Ну как? Ну как?» за игрой в крикет. Она прекращала вязать, прислушивалась. Затем снова впадала в забытье, и вдруг мистер Рамзи резко останавливался напротив нее, и миссис Рамзи охватывала непонятная оторопь, погружавшая

ее в глубокую тревогу, когда муж стоял над ней и смотрел сверху вниз. Лили так и видела эту сцену.

Он протянул руку и помог ей встать. Казалось, ему приходилось так делать и раньше, когда он склонился над лодкой вот так же и помог ей выйти на берег, до которого была пара дюймов, поэтому без помощи джентльменов леди бы не обошлись. Старомодная сцена, для которой прекрасно подошли бы кринолины и галифе. Позволив ему помочь, миссис Рамзи подумала (как предполагала Лили), что время пришло. Пора дать ответ. Да, она выйдет за него замуж. И она медленно, тихо ступила на берег. Наверное, обошлась всего одной фразой, оставив руку в его руке. Я за вас выйду, могла сказать она, не отнимая руки, но не более того. Вновь и вновь между ними пробегала та же искра — конечно, пробегала, думала Лили, разглаживая неровности на пути муравьев. Ничего она не выдумывает, просто пытается разгладить складки на том, что ей вручили много лет назад в сложенном виде, на том, что наблюдала сама. Ведь в суматохе повседневной жизни, когда вокруг столько детей, столько гостей, постоянно возникает ощущение, что все повторяется — один предмет падает туда

же, куда прежде упал другой, и получается эхо, которое звенит в воздухе и заставляет его вибрировать.

Впрочем, упрощать их отношения было бы ошибкой, подумала Лили, вспоминая, как они удалялись рука об руку, как шли вдоль теплицы. Отнюдь не безмятежное блаженство — ее импульсивность и порывистость, его тревога и уныние. Вовсе нет. Рано утром дверь спальни яростно хлопала. Он выбегал из-за стола в бешенстве, швырял тарелку в окно. И по всему дому хлопали двери, трепетали шторы, точно от порывов ветра, и все сновали туда-сюда, в спешке запирая замки и наводя образцовый порядок. В один из таких дней она встретила на лестнице Пола Рэйли. Они хохотали, как дети, потому что за завтраком мистер Рамзи обнаружил в своем молоке уховертку и вышвырнул весь стакан на террасу. «Уховертка, — пораженно прошептала Прю, — в его молоке». Пусть другим попадается всякая мелкая мерзость, лишь бы не ему — он окружил себя такой стеной святости и занимал это пространство с таким королевским величием, что насекомое в молоке казалось чудовищем.

Но хлопанье дверей и швыряние тарелок утомляли и даже немного пугали миссис Рамзи. И то-

гда между ними наступало долгое, напряженное молчание, и она погружалась в то душевное состояние, которое особенно раздражало Лили — не могла спокойно пережидать бурю или смеяться со всеми, а что-то скрывала в своей усталости. Она предавалась тоскливым размышлениям и сидела молча. Через некоторое время он начинал украдкой слоняться неподалеку — бродил под окном, где она писала письма или разговаривала, а миссис Рамзи при его появлении принимала озабоченный вид и ускользала, притворяясь, что его не замечает. И тогда он становился нежен, как шелк, любезен и учтив, пытаясь таким образом ее завоевать. Она не поддавалась и на короткое время обретала гордость и высокомерие, обычно столь не свойственные ее красоте: отворачивалась, смотрела через плечо, сидя в компании Минты, Пола или Уильяма Бэнкса. Наконец, стоя поодаль от компании, словно изголодавшийся волкодав (Лили поднялась с травы и постояла, глядя на ступени, на окно, где видела его), мистер Рамзи резко окликал ее по имени — вылитый волк, лающий на снегу, но она все еще держалась, и тогда он окликал снова, и на этот раз что-то в его голосе заставляло ее подчиниться, и она шла к нему, внезапно бросая всех прочих, и они

вместе прогуливались между грушами, капустой и зарослями малины. Объяснялись наедине, но в каком настроении и какими словами? В их отношениях было столько достоинства, что Лили и Пол с Минтой отворачивались, скрывая любопытство и неловкость, и начинали рвать цветы, играть в мяч, беседовать, пока не наступало время обеда и они усаживались, как обычно, он — на одном конце стола, она — на другом.

— Почему бы кому-нибудь из вас не заняться ботаникой?.. Столько ног и столько рук, и никто… — Так они болтали и шутили с детьми. Все снова было как обычно, не считая едва уловимого трепета, словно воздух рассек клинок, который проскальзывал между ними, как будто привычный вид детей, сидящих над тарелками с супом, вызывал у них особое умиление после часа, проведенного среди груш и капусты. Особенно часто, думала Лили, миссис Рамзи поглядывала на Прю. Та сидела в окружении братьев и сестер, всегда при деле, и следила, чтобы все шло как надо, поэтому сама почти не разговаривала. Как Прю винила себя, наверное, за уховертку в молоке! Как побелела, когда мистер Рамзи вышвырнул тарелку в окно! Как падала духом, когда родители не разговаривали друг с другом! В любом случае

мать стремилась как-то загладить вину, уверяла дочь, что все хорошо, обещала, что в один прекрасный день ее ждет такое же счастье. Впрочем, наслаждалась им Прю меньше года.

Она просыпала цветы из своей корзинки, подумала Лили, прищурившись и отходя назад, будто бы для того, чтобы посмотреть на картину, которую совсем забросила, ведь все ее чувства пребывали в трансе, застыли на поверхности, но внутри двигались с предельной скоростью.

Она просыпала цветы из своей корзинки, опрокинула ее на траву и, неохотно и нерешительно, без вопросов и упреков — разве она не владела даром беспрекословного повиновения? — тоже ушла. По лугам, через долины, белые, поросшие цветами, — вот как Лили бы это нарисовала. Суровые горы. Голые, каменистые. Ревущие волны разбиваются о скалы. Ушли, все трое ушли, миссис Рамзи стремительно шагает впереди, словно предвкушая приятную встречу прямо за поворотом.

Внезапно в окне, на которое она смотрела, замаячило что-то белое. Значит, кто-то вошел в гостиную, сел в кресло. Во имя всего святого, взмолилась Лили, пусть сидит там и не вздумает выйти к ней поболтать! К счастью, кто бы это

ни был, пока он оставался внутри и по чистой случайности уселся так, что отбрасывал на ступеньку треугольную тень. Композиция картины слегка изменилась. Как интересно выходит! Можно попробовать это использовать. Настроение писать возвращалось. Продолжай смотреть, ни на секунду не ослабляя накал эмоций, не теряя твердости духа, не дай себя одурачить! Держи сцену в тисках — вот так — и не позволяй ничему вмешаться и все испортить. Как хочется, думала Лили, усердно макая кисть в краску, находиться на уровне житейского опыта, просто знать: вот — кресло, вот — стол, и в то же время видеть в них и чудо, и вдохновение. Пожалуй, проблему можно решить. Стойте, что это? Белая волна пробежала по стеклу. Наверное, ветерок всколыхнул занавеску. Сердце Лили подпрыгнуло и мучительно сжалось от боли.

— Миссис Рамзи! Миссис Рамзи! — вскричала Лили, чувствуя, как накатывает прежний страх — хотеть, хотеть и не получить желаемого. Неужели она до сих пор на это способна? А потом без лишнего шума ей удалось себя обуздать, и оно тоже перешло на уровень житейского опыта — как кресло, как стол. Миссис Рамзи — по доброте душевной — совершенно запросто сидела в кресле,

стучала спицами, вязала рыжевато-коричневый чулок, отбрасывая тень на ступени. Вот и все.

Ее разум переполняло то, что она думала, что видела, и ей срочно понадобилось всем этим поделиться, но отрываться от мольберта тоже не хотелось, поэтому прямо с кистью в руках Лили бросилась мимо мистера Кармайкла к краю лужайки. Где же теперь лодка? Где же мистер Рамзи? Он ей так нужен!

12

Мистер Рамзи почти закончил читать. Рука зависла над книгой, готовая перевернуть страницу, едва он дойдет до конца. Ветер ворошил его волосы — он сидел с непокрытой головой и выглядел необычайно беззащитным и старым. Он выглядит, подумал Джеймс, рассматривая голову отца то на фоне маяка, то на фоне открытого моря, как древний камень на песке, как воплощение того, что всегда таилось в глубине души их обоих, — одиночества, в котором для них заключалась истинная сущность вещей.

Читал он очень быстро, будто ему не терпелось дойти до конца. Они почти доплыли до маяка. Вон виднеется, суровый и прямой, ослепительно-белый с черным, и волны рассыпаются осколками, похожими на стекло, о скалы у его подножия. На них уже различимы линии и складки, и окна можно разглядеть — на одном белое пятно, и пучок травы на камнях. Вышел человек, посмотрел на них через стекло и снова зашел. Вот он какой, значит, подумал Джеймс, тот самый маяк, на который он смотрел через бухту все эти годы; прямая башня на голой скале. Маяк ему понравился.

Подтвердил некое смутное представление о его характере. Пожилые леди дома в саду, подумал Джеймс, вытаскивают кресла на лужайку. Старая миссис Беквит, к примеру, всегда говорит, что там очень мило и приятно, что они должны гордиться и быть очень счастливы, и вообще-то, думал Джеймс, глядя на маяк, стоящий на скале, так и есть. Он посмотрел на судорожно читающего отца с поджатыми ногами. Они оба знали. «На нас несется шторм, мы все обречены», — проговорил он нараспев вполголоса, в точности как отец.

Казалось, целую вечность никто не произнес ни слова. Кэм устала смотреть на море. Мимо проплывали мелкие кусочки черной пробки, рыбы на дне лодки уснули. Отец все читал, Джеймс смотрел на него, и Кэм тоже, и оба поклялись бороться с тиранией не на жизнь, а на смерть, а он продолжал читать, понятия не имея, о чем они думают. Тем и спасся, подумала она. Да, со своим большим лбом и крупным носом, цепко держа перед собой пеструю книжечку, он спасся. Попробуешь наложить на него руки — он, как птица, расправит крылья, улетит далеко-далеко и устроится вне досягаемости, на каком-нибудь мертвом пне. Она посмотрела в бескрайнюю морскую гладь. Остров стал таким маленьким,

что уже не походил на листок. Он был похож на вершину скалы, которую вот-вот накроет волна. И все же, несмотря на уязвимость, там остались дорожки, террасы, спальни — да мало ли чего. Но, как и перед сном, когда все упрощается настолько, что лишь одна из бесчисленного множества деталей может заявить о себе, так и теперь, поняла Кэм, сонно оглядывая остров, все дорожки, террасы, спальни тускнели и исчезали, и уже не осталось ничего, кроме бледно-голубого кадила, что мерно раскачивалось в ее сознании. Висячие сады, долина, полная птиц, цветов, антилоп… Она засыпала.

— Ну, давайте, — сказал мистер Рамзи, внезапно захлопнув книгу.

Давайте что? Пойдем навстречу приключениям? Кэм резко проснулась. Пристанем к берегу, полезем на скалы? Куда он их ведет? После бесконечного безмолвия его слова их ошеломили. Это уже ни в какие ворота! Он проголодался, сообщил отец. Время ланча. К тому же смотрите, сказал он, вот и маяк. Мы почти на месте.

— У него очень хорошо получается, — похвалил Джеймса Макалистер. — Он ровно держал курс.

А вот отец его никогда не похвалит, мрачно подумал Джеймс.

Мистер Рамзи развязал сверток и раздал сэндвичи. Вот теперь он был счастлив, перекусывая хлебом с сыром в компании рыбаков. Ему хотелось бы жить в хижине и слоняться по гавани, трепаться с другими стариками, подумал Джеймс, наблюдая, как отец перочинным ножом нарезает на мелкие кусочки желтый сыр.

Верно, все верно, чувствовала Кэм, очищая вареное яйцо. Теперь она чувствовала то же самое, что и в кабинете, когда старики читали «Таймс». Теперь я могу думать о чем угодно и не сорвусь с обрыва, не утону, ведь он рядом, он присматривает за мной, думала она.

В то же время они так быстро неслись вдоль скал, что это было ужасно захватывающе — словно делаешь два дела сразу: ешь ланч на солнышке и удираешь от шторма после кораблекрушения. Хватит ли им воды? Хватит ли провизии? — спрашивала она себя, сочиняя историю, но вместе с тем зная правду.

Скоро для них все закончится, говорил мистер Рамзи старику Макалистеру, а вот их детей ждет много странного. Макалистеру исполнилось в марте семьдесят пять, мистеру Рамзи — семьдесят один. Макалистер сказал, что в жизни к доктору не ходил, и все зубы у него свои. Вот бы и мои дети

так жили — Кэм наверняка знала, что он думает, потому что отец не дал ей бросить сэндвич в море, вспомнив про рыбаков и как они живут, и сказал: если не хочет, пусть положит обратно в пакет. Выбрасывать еду нельзя. Такой рассудительный, словно знает обо всем, что творится в мире, и она сразу положила сэндвич обратно, и тогда он выдал ей из своего пакета имбирный орех, с галантностью испанского гранда, вручающего цветок даме в окне. Вид у отца был затрапезный, он по-простому ел хлеб с сыром и все же вел их в великую экспедицию, в которой они вполне могли утонуть.

— Вот где она пошла на дно, — внезапно выдал мальчишка Макалистеров.

Прямо здесь утонули трое моряков, сообщил старик. Он сам видел, как они цеплялись за мачту. А мистер Рамзи, поглядев на указанное место, был готов, как боялись Джеймс с Кэм, вскричать:

Но бездна, поглотившая меня,

и если бы он так поступил, они бы этого не вынесли, завопили бы в голос, не в силах вынести взрыва кипевших в нем страстей; к их удивлению, отец вполголоса сказал: «А-а», словно подумал про себя: к чему суетиться? Естествен-

но, люди гибнут в шторм, но это совершенно обычное дело, и морские глубины (он посыпал их крошками от сэндвича, встряхнув пакет) — всего лишь вода. Раскурив трубку, он достал часы, посмотрел на них внимательно, словно производя математические вычисления. Наконец он торжествующе произнес:

— Молодец! — Джеймс правил как заправский моряк.

Вот, подумала Кэм, безмолвно обращаясь к Джеймсу, наконец ты дождался. Она знала, что именно этого Джеймс и ждет, и знала, что теперь брат так доволен, что не взглянет ни на нее, ни на отца — вообще ни на кого. Он сидел, положив руку на румпель, прямо по струнке, глядел довольно угрюмо и чуть хмурился. Ему стало так приятно, что он не собирался делиться ни крупицей удовольствия. Отец его похвалил. Пускай все считают, что ему абсолютно все равно, но ты свое получил, думала Кэм.

Они сменили курс и теперь шли вдоль рифа легко и плавно по длинным покачивающимся волнам, которые передавали их друг другу необычайно живо и ритмично. Слева в зеленоватой воде просвечивала коричневая гряда, и об одну скалу, более высокую, непрерывно разбивалась

волна, и брызги падали дождем. Слышался плеск воды и удары капель, шуршание и шипенье волн, накатывающих, резвящихся и хлопающих по скалам, словно дикие создания, совершенно свободные и готовые кувыркаться, озорничать и развлекаться подобным образом вечно.

Теперь стали видны двое людей на маяке, которые наблюдали за лодкой и готовились к встрече.

Мистер Рамзи застегнул пиджак и подвернул брюки. Он взял большой, кое-как упакованный бумажный сверток, который собрала Нэнси, и положил на колени. В полной готовности он сидел, глядя на остров. Пожалуй, при своей дальнозоркости он мог различить очертания крошечного листика, стоявшего торчком на золотой полосе, вполне отчетливо. Что он видит? — гадала Кэм. У нее все расплывалось перед глазами. О чем он думает? — гадала она. Что он ищет так сосредоточенно, так тщательно, так безмолвно? Дети наблюдали, как он сидит с непокрытой головой и свертком на колене, уставившись на едва различимый голубой контур, похожий на дымок после того, что сгорело дотла. Что тебе нужно? — хотелось им спросить. Скажи, и мы дадим тебе все, что угодно! — хотелось им сказать. Но он их ни о

чем не просил. Просто сидел и смотрел на остров. Может, он думал: мы гибли, каждый в одиночку, а может: я доплыл, я его нашел. Но так ничего и не сказал.

Затем он надел шляпу.

— Возьмите свертки, — велел отец, кивнув на приготовленные Нэнси вещи. — Это для смотрителей маяка, — пояснил он.

Мистер Рамзи поднялся и встал на носу лодки, очень прямой и высокий, перед всем миром, и Джеймс подумал, что своим видом он говорит: «Бога нет», а Кэм подумала, что сейчас он прыгнет прямо в небо, и оба поднялись, чтобы последовать за ним, когда он выскочил со своим свертком из лодки на скалу, легко, как юноша.

13

— Наверняка уже доплыл, — сказала Лили Бриско вслух, внезапно обессилев. Маяк стал почти невидимым, растаял в голубой дымке, и усилия, затраченные, когда она вглядывалась в даль и думала о том, как он там высаживается, эти два усилия, слившиеся воедино, измотали ее тело и разум до предела. И все же какое облегчение! Что бы ей ни хотелось ему дать, когда он покинул ее утром, она наконец отдала.

— Уже высадился, — проговорила Лили вслух. — Все кончено.

Пыхтя и отдуваясь, к ней взобрался мистер Кармайкл, похожий на древнего языческого божка — лохматый, с травинками в волосах и трезубцем (это был всего лишь французский роман) в руке. Он встал рядом с ней на краю лужайки, грузно покачиваясь, и сказал, заслонив глаза от солнца: «Высадились», и Лили поняла, что права. Им не нужно было разговаривать. Оба думали об одном и том же, и он отвечал ей, хотя она ни о чем не спрашивала. Он стоял, простирая руки над всеми людскими слабостями и страданиями; ей казалось, что он наблюдает, снисходительно

и сочувственно, конечную участь человечества. Теперь он подвел итог, подумала она, когда рука его медленно опустилась, словно он уронил с высоты своего роста венок из фиалок и асфоделей, который медленно покружился и наконец лег на землю.

Быстро, как будто ее позвали, Лили повернулась к холсту. Вот она, ее картина со всеми зелеными и синими мазками, с линиями, бегущими снизу вверх и поперек, ее попытка чего-то добиться. Картину повесят на чердаке, подумала Лили, ее уничтожат. Да какая разница? — спросила она себя, снова берясь за кисть. Она посмотрела на ступени — там никого не было, она посмотрела на холст — он расплывался перед глазами. С внезапным воодушевлением, словно за миг все поняла, она провела линию там, в центре. Готово, картина закончена. Да, подумала она и отложила кисть, ощущая крайнюю усталость, я это увидела именно так.